



КАМИЛ ИКРАМОВ

**СКВОРЕЧНИК,
В КОТОРОМ НЕ
ЖИЛИ СКВОРЦЫ**

ЭТОТ СКВОРЕЧНИК

Мы сидели на крыше, вернее, в слуховом окне. Осколки снарядов то и дело дырявили старое, проржавевшее железо. Мы сидели молча, никому не хотелось говорить. Сережка сказал первый:

— Зашел сегодня в магазин, а там — шаром покати. Скоро одни крабы останутся.

Я понял, что Сережка думает о матери. Ведь он теперь кормилец! Я узнал об этом, а Шурка еще не знал.

— Интересно, для кого этих крабов делают? — сказал Шурка Назаров. — Я лично их ни разу не пробовал и не видел человека, который бы их ел.

— Матишина один раз покупала, — сказал я. — Никто их не берет, а она назло:

— И еще ячменное кофе «Здоровье», — сказал Сережка.

— Не ячменное, а желудевое, — поправил его Шурка.

Сережка не стал спорить. Я тоже, хотя знал, что кофе ячменное, и даже не ячменное, а ячменный. Кофе, как это ни странно, мужского рода. Но Шурку не переспоришь.

В магазине на Пятницкой из банок с крабами и пачек кофе были сложены целые пирамиды. За одним прилавком пирамида крабов, за следующим — кофе «Здоровье». И ничего больше. Ну, там еще лавровый лист, душистый перец, горчица. Остальное, как появится, сразу нарасхват. И очереди.

— Сегодня они зажигалки кидать не будут, — сказал Шурка.

В его словах не было ничего интересного. Фашисты теперь редко сбрасывали зажигательные бомбы. На массовые пожары они уже не рассчитывали. Теперь они кидали фугасные бомбы и старались целиться в важные объекты.

— Смотрите! — Сережка показал рукой.

Но мы и сами видели, как за Крымским мостом три прожектора поймали вперекрест фашистский самолет.

Возле нас стрельбы стало меньше. Зато там рвались снаряды. Там, в белом слепящем свете, готовился к смерти какой-то фашист.

— «Юнкерс-87», — сказал Шурка.

Мы опять не стали спорить. Попробуй различи отсюда! Подбитые «юнкерсы» мы видели на площади перед Большим театром и в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького, когда там была выставка трофеев.

Мы могли по звуку мотора отличить наш самолет от немецкого. Мы привыкли к шипящему посвисту осколков. Мы могли, или так нам казалось, по звуку отличить двухсоткилограммовую фугасную бомбу от полутонной, и мы не вздрагивали от свиста. Но теперь мы вздрогнули: где-то совсем рядом зазвенел звонок. Сильный. Сильнее, чем школьный.

Мы выскочили из слухового окна и увидели, что колокольня против нашего дома освещена электрическим светом. Колокольня была белая-белая, и черными провалами зияли сквозные арки без колоколов. Вдруг свет погас, и звонок перестал звенеть. Неужели померещилось? Не успел я об этом подумать, как вновь вспыхнул свет и зазвенел звонок.

Нам говорили, что с самолета видна зажженная спичка, что луч карманного фонарика виден на несколько километров. Свет, вспыхивающий в нашем переулке, наверняка можно было заметить и на подступах к Москве. Мы окаменели от ужаса. По тому, как падала тень, было ясно, что эта сильная, в сто или двести свечей, электрическая лампочка установлена на нашем доме. Значит, здесь, в нашем доме, находится шпион или диверсант!

Шурка бросился к самому краю крыши и, уцепившись за какой-то выступ, свесился вниз головой.

— Между пятым и шестым этажами! — крикнул Шурка. Он вскочил и, спотыкаясь, кинулся куда-то.

— Там пожарная лестница, — сказал Сережка и побежал за ним.

Я бежал третьим. Я не слышал и не видел, как рвутся в небе снаряды, как бьют зенитки, как громы-хает под нашими ногами старая крыша. Я только слышал, как звенит звонок, видел, как возникает из мрака и исчезает во тьме белая колокольня.

«Зачем звонок?» — подумал я, подбегая к пожарной лестнице.

А Шурка, уже стоя на ней, крикнул:

— Звукоуловители!

— Неужели у них и на самолетах есть звукоуловители?

Оказывается, я не подумал, а спросил вслух.

Мы не удивились, что именно на нашем доме враги установили сигнал. Рядом — мост, Кремль и электростанция.

Пожарная лестница была установлена на длинных кронштейнах далеко от стены, расстояния между перекладами большие. Но Шурка спускался первым, и мы, еще не понимая, зачем он лезет, спускались за ним.

— Скворечник! — хрипло прокричал Шурка снизу.

И я увидел, что лампочка установлена именно в скворечнике. В том самом скворечнике, который очень давно, задолго до войны, кто-то прибил прямо на лепные украшения между пятым и шестым этажом.

— погоди! — закричал Сережка. — погоди, я длиннее!

Он кричал это потому, что Шурка пытался перебраться с лестницы на карниз. Одной рукой он держался за лестницу, а другой тянулся к водосточной трубе, и, если бы кронштейн лестницы был здесь, а не этажом ниже, Шурка перебрался бы и прошел по карнизу. Он это мог.

Свет в скворечнике то вспыхивал, то исчезал, то освещал Шурку, распластавшегося в воздухе, то скрывал его во мраке. Мы с Сережкой застыли, вцепившись руками в ржавые перекладыны пожарной лестницы.

Над нами шарили по небу прожектора; висели аэростаты воздушного заграждения; под нами был булыжник переулка; справа виднелись башни Кремля. А рядом, совсем рядом, в скворечнике, вспыхивала и гасла предательская, злобная, яркая электрическая лампочка в сто, или двести, или, может быть, в триста свечей. И я вспомнил, что в этом скворечнике никогда не жили скворцы.

«Так и знал,— подумал я.— Так и знал!»

Однако надо все рассказать по порядку, а то вы ничего не поймете.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ УТЮГА

К рассвету наша дача сгорела полностью. Правда, это была не наша дача: мы снимали комнату с верандой.

Мы не засекали время, когда она начала гореть, но, честное слово, все продолжалось не больше двух часов. Дача горела, как прощальный пионерский костер. Почти без дыма. Огонь подымался высоко, ярко освещая елочки, уборную за ними, штaketник забора и молодые яблони с зелеными яблоками, которые нам запрещали рвать, пугая дизентерией.

В поселке горело еще несколько дач, и поэтому небо было светлое и рассвет наступил незаметно.

— Летние дачи всегда всегда хорошо горят,— сказал Андрей Глебович Кириакис.— Доски сухие, фундамент высокий, и получается хорошая тяга.

Это была его дача, построенная года три назад, когда он получил деньги за изобретение чудо-печки¹ и быстро нагревающегося утюга. Просто удивительно, до чего спокойно он говорил про свою дачу!

Андрей Глебович сидел у выхода из бомбоубежища, вернее, из щели, которую мы с ним выкопали по чертежу. Такие чертежи висели на всех заборах. В

¹ Чудо-печка — это кастрюля с дыркой посредине и с двойным дном. В такой чудо-печке можно было печь пироги на обыкновенной керосинке. И быстронагревающийся утюг тоже был приспособлен к нагреву на керосинке или примусе.

объяснительном тексте говорилось, что щель-бомбоубежище надежно защищает от непрямого попадания осколочных и фугасных бомб.

На нас сбросили не фугасную и не осколочную, а сразу несколько мелких зажигательных. Они тоже свистели и упали на участке одновременно. Две или три попали прямо в дачу и загорелись на чердаке, одна упала в малинник, и одна — совсем рядом с нашей щелью, за грудой земли. Андрей Глебович велел нам пригнуться и не высовываться, пока эта ближняя бомба не догорит совсем. А сам он время от времени задира голову и косил глазами за грудку земли — он был наш перископ. Дача пылала вовсю, и черные глаза Андрея Глебовича тоже пылали... Нос его казался особенно хищным, а кадык на небритой шее особенно большим.

— Самое пикантное, что эти зажигательные бомбы могут иметь взрывное устройство и быть одновременно осколочными. Они так и называются — термитно-осколочные. Причем самое пикантное...

Тетя Лида несколько раз говорила Андрею Глебовичу, что он употребляет эти слова не по назначению, что это слова-паразиты. Но сейчас тетка промолчала. Она только взглянула, и он понял.

Моя тетя Лида не любила, когда слова употребляются не по назначению. Она окончила филологический факультет и знала три иностранных языка. Из-за этих языков Андрей Глебович и сдал нам комнату с верандой. Тетя Лида читала и переводила ему статьи из зарубежных журналов, чаще всего с картинками. Помоему, Андрея Глебовича больше всего интересовали картинки. Я, кстати, тоже любил смотреть картинки в этих журналах, там было много интересного. Особенно много было автомобилей. Например, автомобиль, который падал в пропасть, и над ним вдруг открывался парашют. Или гоночный автомобиль, у которого перед финишем взрывались шины. Были автомобили для инвалидов — как я понимал, уже для тех, у кого не открылся парашют или взорвалась шина. Признаться, меня интересовали только автомобили и еще немного мотоциклы.

Тетя Лида говорила, что я зря теряю время и лучше бы мне заняться изучением иностранных языков,

благо есть такая возможность. Но я считал, что не всякую возможность обязательно надо использовать. К тому же вот Андрей Глебович изобретатель, а иностранных языков не знает. Тетя Лида на этот довод обычно возражала, что я дурачок: Андрей Глебович изобрел всего-навсего утюг, который хотя и быстро нагревается, но зато еще быстрее остывает; что гладить этим утюгом все равно нельзя, потому что он слишком легок, и это только расход керосина.

В этом была доля правды. Но электрический утюг изобрели до Андрея Глебовича, угольный существовал, может быть, триста лет, а быстро нагревающегося, да еще на керосинке, до Кириакиса никто не изобрел.

В общем, тетя Лида была несправедлива. Она вообще не любила тех, кто не ходит на службу каждое утро. Сама она ходила только два раза в неделю — учила аспирантов, но это по болезни. У тети Лиды была бронхиальная астма, и врачи рекомендовали летом жить на даче. А то мы бы не уехали из Москвы.

Кроме нас троих, в щели сидели еще Галя, дочка Андрея Глебовича, и ее мама, Доротея Макаровна. Было тесно, потому что с начала бомбежки мы перенесли в щель все легкие вещи и постели.

— Какие мерзавцы! — сказала Доротея Макаровна, глядя на закопченный фундамент дачи, вокруг которого дымились совсем тоненькие головешки. — Они не могли прорваться к Москве и потому сбросили бомбы на дачный поселок. Они же прекрасно знают, что летом на дачах много детей.

— Это хорошо, что они не смогли прорваться. Подумаешь — дача! — сказал я, а хотел сказать, что Москва — столица, что в ней Кремль, заводы, исторические памятники.

Но тетя Лида прервала меня.

— Фриц! — сказала она. И посмотрела на меня точно так, как смотрела на Андрея Глебовича, когда он говорил «самое пикантное».

Фриц — это я. Тетя Лида гордилась тем, что почти тринадцать лет назад уговорила моих родителей назвать меня в честь Фридриха Энгельса. Я родился в один день с Фридрихом Энгельсом, только на сто восемь лет позже — 28 ноября 1928 года.

— Посмотрим, что же осталось из нашего движи-

мого имущества,— сказал Андрей Глебович и первым вышел из щели.

Я вылез вторым и сказал:

— По-моему, осталась только ваша кровать.

Ее было хорошо видно. Вся покореженная огнем, она висела на фундаменте. Без сетки, без никелированных шариков. От моей кушетки и следов не осталось.

— Вот здорово!— сказал я. Я хотел сказать, что это удивительно, какая все-таки великая сила — огонь.

Но тетя Лида опять одернула меня:

— Фриц!

Мне мое имя и до войны не нравилось, а теперь и совсем было некстати. Фашистов звали Фрицами и Гансами. Если бы меня звали Гансом, можно было бы законно переделаться в Ваньку, но Фрица не переделаешь. Галя звала меня теперь Федей, но Андрей Глебович сказал, что Федя — Федор, Теодор, но никак не Фридрих. Тетя Лида сказала, что это справедливо.

А разве справедливо было назвать меня Фрицем, когда в нашем роду ни одного немца не было! Вот у того же Андрея Глебовича бабушка была немка — я видел ее фотографию,— и то Андрея Глебовича не называли Фрицем.

Мы все пошли к пепелищу. Соседние дачи тоже догорели. Но начался рассвет, и все было видно. Смотреть-то, по правде говоря, было не на что.

— Андрей,— сказала Доротей Макаровна,— я не помню, наша дача застрахована?

Доротей Макаровна, как говорили люди понимающие, была самая красивая женщина в нашем большом московском доме. Эти понимающие люди говорили, что «все при ней».

Губы у нее были красивые, и она их красила, это точно. Раньше она была артисткой оперетты, и Андрей Глебович тоже работал там в оркестре — играл на флейте. Потом, когда он изобрел чудо-печку, оба бросили театр.

— От войны, Дора, никто не застрахован. В этом, если хочешь, самое пикантное,— мягко сказал Андрей Глебович.

И тетя Лида на этот раз не заметила слов-паразитов.

В эту ночь я стал еще больше уважать Андрея Гле-

бовича. Он стойко держался. Тетя Лида, хотя и была в Гражданскую войну переводчицей в Красной Армии, сильно вздрагивала, когда на станции стреляли зенитки. Галя сидела, обхватив мать руками, и ойкала. А Андрей Глебович совершенно не боялся. Между тем я точно знал, что он никогда в армии не служил из-за того, что один глаз у него совсем не видит.

— Ты так спокоен,— нервно заметила Доротея Макаровна,— будто у тебя три таких дачи.

«И правда,— подумал я,— до чего он спокоен!»

— Хвост! Смотри, Федя, я нашла хвост от бомбы!— Галя стояла в малиннике и держала в руках какую-то странную обгорелую железку.

Галя перешла в десятый класс, она занималась в балетной студии, но мы с ней дружили. Мне стало завидно, что она первая нашла хвост бомбы, и потому я поправил:

— Это не хвост, а стабилизатор.

Но Галя не ответила. Она смотрела куда-то поверх моей головы. Глаза у нее были такие, что все стали смотреть туда же, куда смотрела она.

Над сосновым лесом в стороне Москвы небо было в сплошном дыму и отсветах пламени.

До этой минуты мы все были уверены, что фашистские самолеты не прорвались к Москве. Ведь за первый месяц войны было много воздушных тревог, и ни разу фашисты к Москве не прорвались. Правда, говорили, что это учебные тревоги, но мы не очень верили: нужно же успокоить население!

За лесом все горело. Дымы были ближние, дальние, густые и прозрачные, но самым страшным было небо прямо на востоке от нас. Жирный, тяжелый дым стлался по краю неба и, подсвеченный всходящим солнцем, казался особенно зловещим. Мы стояли молча. Жирного дыма становилось все больше, и он становился все краснее.

— «Москва... Как много в этом звуке...» — деревянным голосом продекламировала Доротея Макаровна. И вдруг зарыдала.

А утро было теплое и тихое. Просто удивительно теплое и тихое.

ПЕРЕУЛОК

— Пойду в совхоз за машиной,— сказал Андрей Глебович.

Доротей Макаровна, Галя и даже тетя Лида посмотрели на него с удивлением.

— Не одна наша дача сгорела, многие будут просить транспорт,— объяснил он и добавил:— Я почему-то уверен, что наш московский дом цел и невредим. Наш переулок заколдованный. В нем ни одну зиму снег не чистили.

При чем тут снег и при чем тут, что его не чистили, я не понял. Тем более, что иногда у нас все же чистили снег.

— Ты знаешь, где гараж?— спросил он меня.— Пойдем вместе.

Мы шли по улице и считали, сколько всего дач сгорело. Оказалось, не так много. Две дачи, сарай и ларек, где продавали кислое пиво и противную хмельную брагу. Я лично никогда там ничего не пил, но взрослые каждый день ругали пиво и брагу.

Мы вышли из поселка, пошли по полю и, когда взобрались на пригорок, остановились и еще раз посмотрели в сторону Москвы. Черный дым поднимался все выше и выше.

— Здравствуйте,— с полупоклоном сказал Андрей Глебович какому-то человеку в телогрейке, стоящему в воротах совхозного гаража.— Разрешите представиться: инженер-изобретатель Андрей Глебович Кирьякис.

— Я сторож,— хмуро ответил тот.— Кого надо?

— Очень приятно,— сказал Андрей Глебович.

(Потом я убедился, что Андрей Глебович здорово умеет разговаривать со сторожами. На них вежливость очень действует. А может, она почти на всех действует.)

— Мне желательно поговорить с кем-нибудь из ответработников. С завгаром или с механиком.

Сторож подумал и сказал:

— Завгара в армию забрали. А механик вон — под машиной. Механик! К тебе пришли!

Из-под полуторки вылез какой-то человек в замасленном комбинезоне и направился к нам. Это была

молодая женщина в очень грязной кепке. В руках она держала гаечный ключ и молоток.

— Здравствуйте, разрешите представиться: инженер-изобретатель Андрей Глебович Кириакис,— с таким же полупоклоном приветствовал женщину Андрей Глебович и протянул ей руку.

Я точно знаю, что никому другому на свете эта женщина не подала бы такую грязную руку. Но тут растерялась, поздоровалась. И очень смутилась.

— Так вот... Как вы, очевидно, знаете, в нашем поселке в результате коварного нападения фашистских захватчиков с воздуха было несколько пожаров...

Андрей Глебович говорил правду, но мне почему-то казалось, что он лжет. Во всяком случае, мне было неловко.

Часа через три, позавтракав яичницей, приготовленной на костре — сковородки мы нашли в куче золы, они не сгорели,— мы ехали на полutorке по окраинам Москвы. За рулем — механик Наташа, в кепке, похожая на артистку Ладынину из картины «Трактористы». С ней в кабине Доротея Макаровна, а мы все — в кузове.

Никакого дыма в небе уже не было. И Москва вся вроде бы цела. А черным, страшным дымом горел, оказывается, толевый заводик недалеко от Филей. Вы знаете, как горит толь? Попробуйте подожгите. А там были еще цистерны с мазутом и жидким битумом. И еще сгорел какой-то рынок и ларек «Пиво — воды», точно такой же, как в нашем дачном поселке, только этот ларек не весь сгорел — вывеска осталась и бочки среди обгоревших досок.

Вот наконец мы увидели кремлевские башни — целехонькие, такие, как всегда. Только звезды были замаскированы, чтобы не сверкали. Мы объехали Манеж и свернули на Красную площадь. Механику Наташе тоже хотелось увидеть, что все цело.

Андрей Глебович сидел на узлах выше всех и крутил головой направо и налево. Мы, как по команде, поворачивали головы вслед за ним. Все, все на месте! И Исторический музей. И Мавзолей. И собор Василия Блаженного. И мост через Москву-реку.

— Наш дом! Наш дом цел! — закричала Галя, как

маленькая, когда с моста увидела наш большой семиэтажный дом.

Его было видно издалека. Мы видели его только сбоку — одну лишь кирпичную стену без окон.

Мы свернули в переулок и затряслись по булыжнику. В этот момент я почувствовал, что очень хочу спать. Я вспомнил, что не спал со вчерашнего утра.

Первый раз в жизни.

— Давайте никому не будем говорить, что наша дача сгорела, — еще раньше предупредил Андрей Глебович. — Зачем создавать нездоровые настроения.

Это хорошо, что он предупредил, потому что нас сразу окружили жильцы и стали расспрашивать. Мы говорили, что на даче нам надоело, что лето идет к концу и вообще в Москве лучше.

Потом мы перетащили вещи. Я помог Андрею Глебовичу и Гале — они жили на пятом этаже. И когда мы с тетей Лидой вошли в свою комнату, я сразу же повалился на кровать, даже есть не стал.

Мне снилось, что у меня новые коньки и все мне завидуют, а хулиганы с набережной меня повалили и дергают за уши. Я очень разозлился и хотел ударить кого-то ногой, потому что с детства не люблю, когда меня дергают за уши, — тетя Лида никогда так не делала.

— Тревога! Тревога! Тревога! — услышал я голос, похожий на голос Сережки Байкова.

— Ты ему в нос дунь. Он чихнет и проснется, — говорил кто-то голосом, похожим на голос Шурки Назарова.

Я открыл глаза и не понял — сон это или на самом деле. Надо мной склонились две пожарные каски с гребнями. Только каски были не медные, а черные, лакированные.

— Вставай, Крылов! Мы тебя в пожарное звено записали. Нам на крышу лезть надо. — Это Шурка Назаров говорил.

Тетя Лида, одетая, с узлом в одной руке и с подушкой в другой, стояла рядом. Наконец я понял, где я и что происходит. Я стал натягивать брюки и одновременно ногами искал ботинки, которые вечно оказывались где-то далеко под кроватью. «Молодцы ребята, — подумал я, — не забыли, записали в самое интересное

звено. Но каски мне, наверное, из-за этой проклятой дачи не достанется». И только я так подумал, как увидел каску, точно такую, как у Шурки и Сережки. Она лежала на подоконнике, возле моей кровати. Черная, лакированная, сверкающая в электрическом свете. «Разве уже вечер?» — подумал я и хотел заглянуть под маскировочную штору на окне.

— Стой! — приказал Шурка. — Ты что, хочешь демаскировать столицу? Пошли на крышу.

— Да, уже пора, — вежливо подтвердил Сережка Байков.

Он был старше меня и Шурки и потому, наверное, вежливей. У него были совершенно белые волосы и белые ресницы. Однажды, лет пять назад, тетя Лида сказала, что он альбинос. По отношению к молодежи моя тетка была удивительно бестактна. С тех пор мы часто дразнили Сережку Альбиносом, и на улице его так дразнили. Но он не обижался, он вообще был сдержанный человек. Даже тогда, когда мы играли в короля, принца и подчищалу и Шурка жулил. Сережка не обижался и спокойно сдавал карты не в очередь. Сперва нам казалось, что ему безразлично, выигрывает он или проигрывает, потому что ему на нас чихать, потому что ему уже шестнадцать лет. Мы даже хотели обижаться. Потом мы убедились, что он вообще спокойный. Как телок.

— Лидия Ивановна, вы уж извините, но нам пора на крышу, — сказал Альбинос.

— Хорошо, ребята, я вас не задерживаю, только пусть Фриц поможет мне отнести в бомбоубежище чемодан. У меня, кажется, начинается приступ. Кстати, я не знаю, как туда пройти.

— Мы никак не можем, вы сами найдете. Это просто. Где раньше было овощехранилище и красный уголок, — сказал Шурка.

Я был ему благодарен, но проклятый телок предал нас обоих.

— А чемодан? — спросил он нас.

— Вы как хотите, а я полез. Дом дороже чемодана.

Шурка был абсолютно прав. Но Сережка встал на путь предательства. Тетка, Сережка и я начали спускаться вниз по парадной лестнице, а Шурка один по-

шел через черный ход на лестницу, ведущую к чердаку. Я нес чемодан и подушку, тетя Лида — узел и одеяло, Сережка шел впереди нас в каске и мою каску нес в руках. Мне очень хотелось ее примерить, но было неловко перед Сережкой, неловко войти в ней в бомбоубежище, и руки были заняты.

В бомбоубежище пахло гнилой картошкой. Раньше здесь было овощехранилище, потом года три красный уголок с настольным бильярдом, но запах гнилой картошки стоял прочно. Под потолком на шнурах болтались электрические лампочки, в полу зияли щели, нары и топчаны тоже были щелястые. На нарах, топчанах и чемоданах сидело все население нашего дома. С тетей Лидой здоровались, и со мной тоже. Многие не видели нас больше месяца. Всю войну.

— С приездом, Лидия Ивановна!

— Здравствуйте, Лидочка! Вот она, наша жизнь...

— Лучше бы уж вам на даче оставаться...

У тети Лиды действительно началась одышка, и она отвечала только кивками.

И со мной заговаривали:

— Вырос, возмужал. Молодцом стал.

— Ты загорел.

И все такое, необязательное, никому вроде бы не нужное, но то, что всегда говорят, когда думают о другом, действительно важно. Говорят и говорят. Все это было бы терпимо, если бы некоторые не добавляли моего имени. Скажут что-нибудь неинтересное и в конце добавят «Фриц» или, еще хуже, «милый Фриц».

Я поставил чемодан. Тетя Лида села на нары и уперлась руками в колени. Да, значит, серьезный приступ начался. А тут еще духота такая!

Вдруг к нам подошла Галя Кириакис. На боку у нее санитарная сумка, на рукаве повязка с красным крестом.

— Тетя Лида, вам помочь?

«Во дает! — подумал я. — И сумку достала».

На меня Галя даже не посмотрела. Я тоже не стал на нее глядеть и пошел к выходу. Я увидел Доротею Макаровну и сказал: «Добрый вечер». Она ответила: «Здравствуйте», будто я не я. Глаза у Доротей Макаровны были неподвижные, щеки белые-белые, а губы накрашенные, бантиком. И Андрей Глебович был тут.

Он чинил сломанный топчан и меня не заметил. Зато Матишина заметила меня и очень обрадовалась.

В нашем доме эту женщину за глаза все называли Матишина. Получалось как фамилия. А на самом деле она была Ольга Борисовна Ишина, мать Вовки Ишина. Еще ее называли Барыня, но это редко. Она одевалась в старомодные платья с белыми и розовыми кружевами, на груди носила часики с крышкой, на пальцах у нее были большие серебряные перстни, которые нам никак не удавалось рассмотреть. Сын Барыни-Матишиной давно уже был никакой не Вовка, он кончил институт и работал инженером на авиационном заводе. В глаза его называли Вова или даже по имени и отчеству — Владимир Васильевич, но за глаза — Вовка. Вы не думайте, его уважали в нашем доме, но говорят, что, когда я был еще совсем маленький или даже еще не родился, он был ужасный озорник, хуже всех в доме. И еще у него был мотоцикл «харлей-давидсон». Вовка участвовал в каких-то гонках и часто ездил на нем без глушителя.

Матишина меня и до войны замечала, потому что я интеллигентный мальчик. Это потому я интеллигентный мальчик, что моя тетка языки знает.

— Здравствуй, Фриц! Здравствуй, маленький! — Это она мне говорит. — Вот видишь, как бывает в жизни. Но ничего, все образуется, перемелется.

Я улыбнулся ей изо всех сил и хотел скорей уйти. А она взяла меня за руку и сказала будто бы мне, а на самом деле всему бомбоубежищу:

— Дети! Почему должны страдать дети! Кто бы мог подумать, что немцы до этого докатятся! — А сама держит меня за руку, будто это я — немец. — Подумать только! Народ Гёте и Вагнера, народ, давший миру Маркса и Энгельса... Фриц! Ведь тебя в честь Энгельса называли Фридрихом?

— Да, — сказал я и попытался вырвать руку.

Матишина не отпускала.

— Подумать только, что дети, которых родила Гретхен... Ты знаешь, кто такая Гретхен?

Я не знал. Я смотрел, как мучается в дверях Сережка Байков в черной каске на белобрысой башке и еще с моей каской в руках. Он страдал за меня.

— Крылов! — вдруг крикнул он на все бомбоубе-

жище, потому что здесь все, кроме Барыни, говорили шепотом. — Крылов! Бомбы тебя ждать не будут!

Эх, молодец Сережка! И хорошо, что назвал меня по фамилии. Вот что значит дружба! И Шурка сегодня назвал меня по фамилии, хотя мы учились в разных классах и даже в разных школах. Это верные друзья. Мы не виделись с начала войны, но они ни разу не назвали меня Фрицем.

Чтобы из бомбоубежища попасть на черный ход и оттуда на чердак, надо обежать дом вокруг. У нас дом семиэтажный, на фронтоне лепные украшения — гипсовые женщины в покрывалах. У женщин прямые носы и вялые руки. Тетка объясняла, что это не то нимфы, не то наяды, а может быть, музы. К ногам одной музы кто-то приколотил скворечник, в котором не жили даже воробьи.

В нашем доме была шикарная парадная лестница с удобными ступенями и лифтом, который не успели достроить в 1917 году. Кроме парадной лестницы, была еще и черная, и все квартиры имели два выхода — один на парадную, другой на черную лестницу. По парадной должны были ходить хозяева квартир, а по черной — прислуга. Однако дом построили к самой революции, и буржуи не успели в него въехать. По этой черной лестнице хозяева квартир ходили, когда нужно было вынести мусор, а по парадной — когда отправлялись на работу или в магазин.

Лестница для прислуги и в мирное время освещалась плохо. Кому нужно вынести ведро на помойку, может сделать это засветло. Теперь же, в войну, там была тьма кромешная. Мы торопились, спотыкались, переворачивали ведра, цеплялись за ненужные вещи, которые жильцы изгоняли из квартир, но ленились вынести во двор. У входа на чердак я споткнулся о порог и так треснулся головой о кирпичную трубу, что каска загудела. «Вот она и пригодилась», — подумал я. Когда мы вылезли на крышу, стрельба шла вовсю. Это мы еще на чердаке слышали.

Никогда в жизни я не видел такого красивого неба над Москвой. Потом мы с этой крыши видели салюты в честь наших побед. Мы видели много салютов, но никогда небо над нами не было таким красивым, чтобы дух захватывало. Вы не думайте, что от страха, —

от красоты. Салют — это, конечно, красиво, но не так. Допустим, двадцать залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Так ведь каждый залп похож на другой. А тут не так, совсем не так.

Во-первых, прожектора. Как они щупают небо, как они своими длинными пальцами перебирают тучи, как неожиданно взлетают и как вдруг скрещиваются. А если в скрещение прожекторов попадет фашистский стервятник, так тут ничего прекраснее и быть не может.

Во-вторых, трассирующие пули и снаряды. Особенно от счетверенных пулеметов. Золотые цепочки по небу, и в самых неожиданных местах. В общем, я понял, что самая лучшая красота — неожиданная.

В-третьих, если признаться, все-таки немного страшно. Выше нашего дома вокруг нет ни одного. А ты стоишь на крыше. Внизу — город. Над тобой только аэростаты, заграждения на тросах. А в небе воздушный бой не на жизнь, а на смерть. Осколки верещат. А ты знаешь, что не зря здесь стоишь, ты не лишний здесь, не кино это, а твоя собственная жизнь.

Нас только трое на крыше: я, Шурка и Сережка. Сережка по должности начальник, он командир звена, единственный среди нас комсомолец. Мы-то, по существу, еще пионеры. Если бы в школу идти, то мы бы галстуки надевали. А Сережка с начала лета стал работать. Отец устроил его по знакомству на авиационный завод учеником. Отец у Сережки дамский портной. Его забрали в армию всего неделю назад. Между прочим, у Шурки отец тоже портной, но он, кроме того, младший командир запаса, и его призвали в первый день войны.

Сережка наш начальник, а Шурка ему выговор сделал:

— Где вы там застряли? А если бы зажигалка? Что я — один тут...

— Ладно, — сказал Сережка.

Конечно, Сережка неправ: мы должны быть на посту вовремя. А если бы действительно зажигалка?

Я потрогал на голове каску и хотел рассказать ребятам, как сгорела наша дача, но промолчал.

Шурка на крыше, как в своей комнате, потому что весь прошлый год гонял здесь голубей. Но к весне чер-

дак почему-то закрыли, и вдобавок мать Шуркина отняла у него голубиные деньги. Только он новые накопил — война началась.

Я лично до войны никогда на крыше не был. Тетка тряслась надо мной, как над ребенком. К тому же я ходил в Дом пионеров, занимался в автомобильном кружке и еще в историческом. У меня даже на уроки никогда времени не оставалось, не то что на голубей. Теперь я очень пожалел об этом. Ничего я тут не знаю, вижу только трубы, соседний дом, и то еле-еле, а в основном небо. На чердаке и вовсе заблудиться могу — он огромный, запутанный. Вот внизу, в переулке, я, как собака, каждую щель знаю, каждый камень. Всю жизнь мог бы там с завязанными глазами прожить. Если на спор. Я там и в прятки играл, и в чехарду, и в отмерялы, и на самокате катался.

Наш переулочек среди тысячи особенный. Если с одной улицы посмотреть, он тупик; если с другой посмотреть, тоже тупик. Он не прямой, не косой, не углом, а как заводная ручка, которой автомобиль заводят. Сначала прямо, потом точно налево, а потом точно направо. Хоть с одной стороны в него зайди, хоть с другой. Наш дом в переулке самый большой. Есть еще три поменьше, три одноэтажных и еще две церкви. В одной — артель, в другой — райпищеторг. На паперти райпищеторга мы всегда в расшибалочку играли. Монетка отскакивает выше головы.

Я про все это думаю и молчу. И так из-за меня мы с Альбиносом опоздали. Молчу и делаю вид, что все в порядке.

Вдруг Сережка трогает меня за рукав и тащит на чердак. На крыше светло от неба и прожекторов, а здесь, оказывается, тьма-тьмущая.

— Пригляделся? — спрашивает Сережка.

— Немножко, — отвечаю.

— Бочку видишь?

— Немножко.

— Ничего ты не видишь, — сказал Сережка. — На вот, щупай.

Щупаю. Действительно бочка. Руку в нее опустил, а там вода.

— Значит, если зажигалка упадет, ты се в бочку.

А если что-нибудь загорится, хватай ведро. Видишь ведро?

— Ничего я не вижу,— сказал я.

— Ну приглядишься. А вот ящик с песком. Можно зажигалку в ящик. У нас еще огнетушитель есть, но, говорят, он не работает. Ты его лучше не трогай.

Глаза мои постепенно стали привыкать. Постепенно я увидел бочку и ящик с песком, и большой деревянный щит, на котором висел багор, железные щипцы с длинными ручками, две лопаты, пожарный топорик и брезентовые рукавицы на гвоздиках.

— Это твои рукавицы,— сказал Сережка.

Я сунул рукавицы в карман курточки, и мы вылезли на крышу.

— Тише вы!— крикнул Шурка.— Летит.

Я услышал, что в небе появился кто-то чужой. Это был самолет, который мы не видели, как ни вглядывались. Мы слышали прерывистый гул.

— Фриц!— сказал Шурка.

— Что?— спросил я.

— Я говорю, фашист летит.

Я покраснел, и волосы под каской вспотели у меня от стыда. Хорошо, что темно и не видно, как я покраснел.

Наши зенитки почему-то не стреляли по этому самолету.

Сейчас больше всего разрывов было над Зарядьем. А самолет дудел прямо над нами: ду-ду-ду...

И тут — знакомый свист. Такой, как на даче. И сразу же тук-тук, тук-тук-тук по крыше.

— Ну и осколочки!— дрожащим голосом сказал Шурка, и зубы у него тихонько лязгнули.

А я понял, что это не осколочки, а зажигательные бомбы. Впрочем, все это поняли, потому что одна бомба скатилась в водосточный желоб и загорелась бенгальским огнем. Натягивая рукавицы, я бросился к ней, схватил за хвост и сбросил вниз в переулок.

— В бочку ее, в бочку!— крикнул мне Шурка.

Но было уже поздно.

Когда я оглянулся, ребят у слухового окошка не было. Я понял, что они нырнули на чердак. Я бросился за ними.

Где-то за стропилами вовсю горела бомба. Она го-

рела ровным светом, и на чердаке было светло. Я кинулся на свет и увидел, что Сережка уже ухватил эту бомбу щипцами и тащит прямо на меня.

— Там есть еще!— крикнул он.

Действительно, в другом конце чердака тоже было светло. Бомба горела, на метр разбрасывая огненные брызги. Она шипела и, кажется, даже крутилась. Схватить ее рукавицами казалось страшно. Я ударил по ней ботинком, она не взорвалась. Тогда я еще поддал ногой и стал гнать ее по чердаку к ящику с песком.

— В бочку ее, в бочку!— услышал я.

Тут подбежал Сережка со щипцами, ловко схватил бомбу, но она распалась на две части и продолжала гореть. Шурка прибежал с ведром воды и выплеснул ее. Нас обдало горячим паром и брызгами. Бомба чуть приутихла, но потом стала гореть с новой силой.

— Песку! Песку надо!

К счастью, до ящика с песком было недалеко. Мы метались с лопатами, пока не навалили целую кучу песка. Бомба погасла. Но на чердаке не стало темнее. Где-то совсем в дальнем конце горели стропила. Мы кинулись туда.

Это была, наверно, самая опасная бомба. Она пробила крышу рядом с дымовой трубой и застряла между крышей и деревянной балкой. Горела вовсю, с треском. Мы плескали воду, мы швыряли лопатами песок, а бомба все горела, и балка разгоралась сильнее.

Сережка притащил багор, выковырнул бомбу. Она мелкими кусочками упала на шлак, насыпанный на чердаке. Я подцепил ее на лопату и сунул в ведро с водой, которое притащил Шурка. Но балка горела. Мы поливали ее водой и кидали в нее песком...

На чердаке наконец стало темно, и нас это обрадовало. Мы гуськом обошли его весь и вылезли на крышу.

Над городом было тихо. Не было разрывов, не ухали зенитки, и щупальца прожекторов исчезли. Светало.

Сережка снял каску.

Его белые длинные волосы слиплись.

— Порядок!— сказал он.— Я думал, они взрываются,

— Нет,— сказал я,— они не взрываются.

Я хотел рассказать, как у нас сгорела дача, но опять промолчал.

— Еще как взрываются! . . — сказал Шурка. — Это просто нам повезло.

Шурка тоже снял каску. И я снял. Ветерок обдувал мою взмокшую голову.

— Хорошо! — сказал Сережка Альбинос.

И я подумал, что действительно хорошо.

На углу, возле кинотеатра «Заря», что-то щелкнуло. Это включились огромные репродукторы, похожие на граммофонные трубы. «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» Голос диктора был родной и знакомый.

Я посмотрел направо. Кремль, собор Василия Блаженного — все на месте.

Я оглянулся. Трубы Могэса тоже целы. И мост цел.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» — еще раз сказал диктор.

Я посмотрел на свои ботинки — не прожег ли. Нет, все в порядке. Зато на штанах в нескольких местах были мелкие дырочки.

— Зря ты первую штуку вниз швырнул, — сказал Шурка. — Если бы ты ее в бочку сунул, у нас была бы целехонькая бомба, а так только одни хвосты остались.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» — в третий раз донеслось из кинотеатра «Заря».

И тут мы увидели, что совсем светло и скоро взойдет солнце.

Я никогда не думал, что черная лестница в нашем доме такая неудобная. Ступеньки крутые, а на поворотах скошенные. На черной лестнице трудно угадать, какая дверь в какую квартиру ведет. И номеров на них нет.

Мы спускались медленно.

— Это какая квартира? — спросил я Шурку, когда мы были на шестом этаже.

— Семнадцатая, — говорил он. — Гавриловы и Яворские. Сам не знаешь? Шестой же этаж.

— А эта! — спросил я.

— А это твои Кириакисы и Матишина. Изобретатели.

Я знал, почему Шурка сказал — изобретатели, а не изобретатель. Все в доме считали, что у нас один только изобретатель — Андрей Глебович. Но Андрей Глебович говорил, что Вовка Ишин тоже изобретатель. Мы не верили, думали — он своей квартирой хвастается. Кроме того, мы знали, что изобретает Андрей Глебович, а чем занимается Ишин, не знал никто. Вот что с мотоциклом возится — это все видели. И потом, посудите сами: может ли это быть, чтоб в одной квартире жили сразу два изобретателя, а во всех остальных — ни одного?

Мы спустились во двор и, обойдя дом, подошли к подъезду. Там стояло много народу. Все, кто провел ночь в бомбоубежище в духоте и тревоге, вышли сюда, чтобы дышать свежим воздухом, глядеть на чистое небо и радоваться, что живы и здоровы.

Здесь была и моя тетя Лида, и Андрей Глебович с женой, и Галя, и мать Шурки Назарова — тетя Катя, и Сережина мама, и Барыня-Матишина.

Нас стали расспрашивать, как кончился налет, куда падали бомбы, сколько самолетов сбили. Но мы не видели, чтобы сбросили куда-нибудь фугасную бомбу, и не видели, как наши сбивали вражеские самолеты. Зато каждый из нас вытащил из кармана обгоревший хвост зажигалки. Мне кажется, что мы не сильно хвастались.

Мать Шурки перекрестилась и поцеловала сына в лоб. Тетя Лида улыбалась. Сережина мать только вздыхала. Все на нас смотрели с уважением до тех пор, пока Матишина не сказала свое слово.

— Вандалы! — сказала она. — Дикари! Господь их покарает. — И она тоже перекрестилась.

То, что крестилась мать Шурки Назарова, никого не удивило. А вот что Матишина крестится — это мы видели в первый раз.

П Е Т Ы Н

Весь август и начало сентября погода в Москве была прекрасная. Дни стояли теплые, солнечные, небо чистое. И это было плохо, потому что в ясную погоду воздушные налеты особенно опасны. Правда, когда много туч, тоже опасно, потому что за тучами легче проскользнуть к Москве, легче скрыться от прожекто-

ров и зениток. Но дни стояли ясные, и ночи были безоблачные.

Сережка Байков, Шурка Назаров и я каждый налет дежурили на крыше и видели, как ослабевает напор фашистских стервятников.

— Ты заметил? — сказал Шурка. — Чем мы втроем становимся смелее, тем фашисты становятся трусливей.

— Неужели они это чувствуют? — удивился я.

— Не знаю, как они, а я это чувствую, — сказал Сережка.

Я посмотрел на Сережку и по глазам понял, что он сострил. Я не всегда понимал, когда он шутит. Только если заглянуть в глаза.

Между прочим, 1 сентября прошло, а занятия в школах не начались. Говорят, что где-то в Москве работали школы, но в нашем районе, к счастью, не работали. Ни моя 578-я, ни Шуркина 562-я. И Галя Кириакис тоже не ходила в школу, даже в свою балетную — балетная школа тоже уже эвакуировалась.

Каждый день говорила про свой отъезд Барыня-Матишина, но почему-то не ехала. Она всем объясняла:

— Днями должен приехать Вова. И тогда мы поедem на восток. Я никогда не была там. Говорят, это сказочный край.

Газеты писали об ожесточенных боях на всех фронтах и на всех направлениях. Гитлеровцы наступали, неся огромные потери в живой силе и технике. Но они пока все еще наступали.

По радио передавали сводки Совинформбюро о героизме наших солдат и мирного населения, и по несколько раз в день мы слышали песню «Священная война». И сколько бы раз ее ни передавали, я всегда замирал у репродуктора и думал: кто мог сочинить такую прекрасную песню?

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

И еще:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

В Центральном парке культуры и отдыха была выставка фашистских самолетов, сбитых на подступах к Москве.

Мы с Шуркой решили пойти в ЦПКиО. Сережка не мог — он работал.

За веревкой стояли самолеты: совсем обгоревший истребитель «мессершмитт» и бомбардировщик «Юнкерс-88». На истребитель и смотреть было нечего — так мало чего на нем осталось. «Юнкерс» был поинтересней. Он стоял на козлах, потому, что шасси сломались, и крылья его уныло свисали к асфальту. Может быть, они и не свисали, но таким он мне запомнился. Свисающие крылья с черными противными крестами и здоровенные пробоины в фюзеляже. Еще мне тогда запомнилось множество медных проводов, будто это не самолет, а летающий радиоприемник. Мальчишки и взрослые стояли за веревкой, а внутри ходила женщина в синем халате. Совсем как в Третьяковской галерее.

Кое-кто из мальчишек пытался нырнуть под веревку, пробраться к самолету и отломать что-нибудь на память. Женщина в синем халате только делала вид, что гоняет их, но никому ничего отломить не удавалось, потому что всё давно уже обломали и оторвали до них.

Мы с Шуркой тоже нырнули под веревку и обежали самолет вокруг.

— Раньше надо приходиться. В первый день, — с упреком сказал мне Шурка, будто я виноват, что всё уже обломали. — Пустой номер. Тут не разживешься.

Когда мы уже уходили домой, ко мне подошел какой-то долговязый нестриженный парень и сказал:

— Махнемся?

— Что на что? — спросил я. Я вообще не любил меняться. Да и не на что у меня было.

— Твою авторучку на погон.

Парень вытащил из кармана брюк серебряный перьевый погон. Я никогда не видел погонов, а тем более немецких.

— Где достал? — спросил я.

Но парень не ответил. Он только повторил:

— Махнемся?

— Настоящий? — спросил я.

— А ты что думал!

Я с радостью отдал ему свою авторучку, хотя очень ею гордился. Она была у меня перламутровая, с позолоченным пером. Тетя Лида подарила мне ее, когда я перешел в шестой класс. Правда, я не писал этой ручкой, а носил ее для красоты в кармане куртки. В первый же день, когда тетка мне подарила ручку, я ее уронил и сломал перо.

Всю дорогу домой Шурка выпрашивал у меня погон, но я ему даже посмотреть как следует не дал, потому что Шурка положит в карман и скажет: «Я тебе завтра отдам», а потом попробуй забери. Он же старше и сильнее.

Тетя Лида готовила обед. Это было очень кстати: есть хотелось ужасно. Я не пошел в комнату, а толкался около нее на кухне. Керосинка коптила. Тетя Лида сердилась на меня. Я не ходил вовремя за керосином, и пришлось занять у соседей.

На первое у нас был суп из чечевицы, заправленный гусиным жиром, на второе — пшенная каша, тоже с гусиным жиром. Я не знал, что гусиный жир такой вкусный. Почему я до войны никогда его не пробовал?

После обеда я лег на кровать и стал читать «Виконта де Бражелона». Погон я положил рядом с книжкой и все время поглядывал на него.

Тетя Лида пришивала пуговицы к моему демисезонному пальто.

— Крылов! — раздалось с улицы. Это кричал Шурка.

«Сейчас будет погон выпрашивать», — подумал я, но выглянул в окно.

— Крылов, иди сюда!

Я схитрил. Погон оставил дома, а сам вышел на улицу.

— Чего тебе? — спросил я. Я знал, что Шурке не на что выменять погон. Самое ценное, что у него было, — это головка от зенитного снаряда. Но снаряд был наш, а погон трофейный.

— Петын вернулся, — сказал Шурка.

— Из тюрьмы? — спросил я.

— С фронта, — сказал Шурка. — Пошли к нему?

Эта новость меня поразила. Петын был знаменито-

стью не только в нашем переулке, но и во многих переулках вокруг. Мы знали, что он карманник, ширмач. За год до войны он куда-то исчез. Говорили — попал в тюрьму. Это никого не удивило, потому что его забирали несколько раз.

Мы все очень боялись Петына и немножко уважали. Это был уверенный в себе, красивый, рослый парень. Ходил в хромовых сапогах «джимми», в жилетке, на лбу челочка. Левую руку Петын всегда держал в кармане: там он носил финку. Перед тем как исчезнуть из нашего переулка, Петын вставил себе золотой зуб и научился играть на гитаре. Песни, которые пел Петын, нам очень нравились. Особенно про Колыму, про вора, который мечтает, как он отбудет «срок приговора» и «на поезде в мягком вагоне» придет к своей любимой. Петын хорошо играл на гитаре и слова выговаривал как-то по-своему, особенно вот этот куплет:

Воровать завяжу я на время,
Чтоб с тобой, моя крошка, побыть,
Любоваться твоей красотой
И колымскую жизнь позабыть.

Я уже говорил, что в нашем переулке было три одноэтажных дома. Самый лучший тот, что при церкви. Из толстых бревен, с мезонином, с двумя высокими крылечками и с сиренью в палисаднике. В мезонине жил Петын.

Мы вошли во двор и сразу его увидели.

Петын загорел, раздался в плечах за это время. Он сидел на крыльце в красноармейских брюках, грубых сапогах и заплатанной гимнастерке.

— Здорово, огольцы! — сказал он. — Пронюхали, что Петын вернулся?

Я не понял, рад он, что мы пришли, или нет. Мне-то он радоваться и не должен был, потому что я Петына боялся и редко подходил к нему. А Шурка его уважал. Раньше Шурка ему всегда за четвертинкой бегал. Один раз они даже голубей вместе гоняли.

— Здравствуй, Петын, — сказал Шурка. — Это правда, ты с фронта?

— А то откуда? — сказал Петын. — С луны, что ли? Сейчас весь наш народ — как один человек.

— Петын, — сказал я, — а говорили, что ты в тюрьме

— А ты, Фриц, вражеские разговоры не слушай, — сказал Петын. — Ты, Фриц, лучше на себя погляди.

Я понял, что он имеет в виду.

— Нет, правда, — сказал Шурка, — ты же сам говорил, что тебя скоро заметут... И потом, Петын, я тебя очень прошу: не зови ты его Фрицем. У него фамилия русская — Крылов, ты его лучше по фамилии зови.

— Так вот, огольцы, — сказал Петын, — если уж вам так про мою жизнь интересно, могу кое-что рассказать. — Петын закурил, как-то грустно усмехнулся и начал так: — Был Петын уркой, а стал честным человеком. Кровью смыл с себя позор.

Из кармана гимнастерки он вытащил какие-то бумаги и показал нам:

— Видали? Прибыл домой на поправку.

Мы заглянули в бумаги. Текст ее был напечатан на машинке, а какие-то слова вписаны чернилами.

— Смотрите!

— «Проникающее ранение грудной клетки», — прочитал я.

— Навылет, — сказал Петын, — легкое пробили, гады! Но Петын еще даст им. Поправлюсь — и опять на передовую.

— А как ты на фронт попал? — спросил я.

— Как все, — сказал Петын. — Добровольцем. Сейчас идет борьба не на жизнь, а на смерть. Сейчас решается вопрос — быть всему нашему народу свободным или попасть в порабощение.

Я хотел спросить еще: а где же он был целый год до войны? — но не решился.

— Да вы садитесь, ребята! — пригласил Петын.

Мы сели на ступеньку пониже Петына.

— Я вам вот что, ребята, скажу. Был Петын уркой, а теперь честный человек, — повторил он свои слова. — В один день моя жизнь переломилась раз и навсегда. Возврата к прошлому нет. Был я вор, ширмач — преступник, одним словом. Если бы не тот случай, может,

моя жизнь и дальше текла бы в пропасть. Вот слушайте и запоминайте, как в жизни бывает...

Было это 10 июня сорокового года, как сейчас помню. От Киевского вокзала отходил экспресс Москва — Киев. В поезде разные командировочные. Лопатники грошами набиты. Пассажиры идут — на каждом лепень заграничный. — Петын посмотрел на меня и объяснил: — Ну, лопатник — по-воровски это бумажник значит; лепень — костюм. А чемоданы кожаные. Но я по чемоданам не работал. Вижу — идет один. Задний карман оттопыривается. Чую — что-то есть. У него в одной руке чемодан, в другой — портфель. Стал дверь на перрон открывать. Я вроде нечаянно о его чемодан споткнулся. «Извиняюсь, гражданин», — говорю. И дальше побежал — вроде тоже на поезд опаздываю. Захожу, значит, я в мужской туалет, кабинку на задвижку, открываю я этот лопатник, ну, бумажник, а там... Ну вот ты скажи: что там могло быть? — спросил Петын меня.

— План секретного завода! — выпалил я.

Шурка посмотрел на меня с удивлением:

— Чего?

И Петын вроде бы загнулся. А потом спросил:

— Ты книгу «Они просчитаются вновь» читал?

Я говорю:

— Читал.

И тут же понял, как я догадался, что было в бумажнике. Ведь про историю, которую рассказывал Петын, я знал из этой книжки.

— Ну вот... — сказал Петын. — Если ты эту книжку читал, значит, ты и историю эту правильно понимаешь. Там же все про меня написано. Только фамилия изменена. И поезд там другой назван. Для конспирации.

Шурка эту книжку не читал и поэтому смотрел на нас с Петыном с завистью.

— Ну, и дальше было все, как в книжке, — продолжал Петын. — Попал я в прокуратуру. Долго меня не пускали. Кто, зачем, откуда — спрашивают. Ну, я там этим мелким объяснять ничего не стал.

Провели они меня в кабинет. Кабинет, ребята, я вам скажу!.. Панели дубовые и двери двойные, чтоб ничего оттуда слышно не было. Вышел мне навстречу

этот самый, который книжку написал. Высокий из себя, красивый, волосы светлые. «Я вас слушаю», — говорит. А глаза у него пронизательные! Ну, думаю, спекся Петын! Этому надо всю правду выкладывать. Я сначала думал — скажу, на улице нашел. С этим, вижу, не пройдет.

«Явился, говорю, к вам Петр Петрович Грибков, по кличке «Петын». Не с повинной пришел, а просто другого пути у меня нет». Рассказал я ему эту историю, положил на стол бумажник. Посмотрел он план и говорит: «Это же есть наш самый секретный завод!» Стал спрашивать, какой из себя этот мужик, в чем одет. Я ему рассказал. Он к телефону. В Киев позвонил, чтобы задержали. А потом сел, открыл пачку «Казбека» и говорит мне: «Курите, Петр Петрович». С одного раза мое имя-отчество запомнил. Ну, думаю, если курить предлагает, значит, сейчас меня заметут. Так положено: как на допрос вызывают, говорят: «Закуривайте». Это поначалу так.

Я закурил. Он тоже закурил. Смотрит он на меня. А я устался в ковер и думаю: «Отбегал, Петын, отбегал. Но не жалко. Пусть я в тюрьме посижу, но зато этого шпиона на чистую воду вывел». Случайно, конечно. А он мне говорит: «Положено вам, Петр Петрович, за воровство по статье сто шестьдесят второй Уголовного кодекса РСФСР как минимум год тюрьмы, а как максимум — пять. Это если иметь в виду ваше прошлое. Но, учитывая вашу сознательность, скажу я вам спасибо, Петр Петрович, большое государственное дело сделали...»

Я слушал Петына и не верил своим глазам. Неужели передо мной человек, о котором написано в книге? Да, рассказ Петына полностью совпадал с тем, что я прочитал в книжке.

— А шпиона поймали? — спросил Шурка.

— Нет, — сказал Петын. — Шпиона не поймали.

— А в книжке написано, что поймали, — сказал я.

— Написано, что поймали, однако на самом деле не поймали, — вполголоса пояснил Петын. — Вы, ребята, должны понимать. Враг хитер. Он не стал до Киева ехать, где-то на полдороге сошел.

Нам всегда нравилось, как Петын курит. Он затягивался глубоко и резко, папиросу держал между боль-

шим и указательным пальцами, а затаившись, сразу отрывал папиросу от губ.

Вот и сейчас, кончив рассказывать, он затаился так, что вдохнул в себя последние табачинки и закашлялся. Шурка смотрел на него с восхищением. Я тоже.

— Голубей гоняешь, Шурик?

— Куда... — вздохнул Шурка. — Не до голубей. Говорят, на чердаке ничего лишнего быть не должно.

— Хотя, конечно, — согласился Петын, — нынче всем не до голубей... Что нового в переулке? В эвакуацию многие драпанули?

Мы никогда так не говорили об эвакуированных хотя бы потому, что мы им не завидовали. Многие завидовали нам, оставшимся в Москве.

— Никто не драпанул, — сказал я. — Драпают только фашисты. Наши уехали в организованном порядке. Самые ценные учреждения, многосемейные с детьми.

Петын пропустил мои слова мимо ушей. Он умел так слушать, что я, например, смущался.

Из кармана своих военных штанов Петын достал пачку «Беломора» и протянул нам. Я вообще-то не курил, но, чтобы не унижаться, взял папиросу и стал дымить. Я боялся закашляться. Шурка закурил по-настоящему, он вообще покуривал — Петын его раньше выучил.

— Ну, из вашего дома кто уехал? — спросил Петын Шурку.

— Из нашего? Стремоуховы, Яворские, Сальковы.

— Яворские — это из какой квартиры?

— Из семнадцатой, где Гавриловы, — объяснил Шурка.

— А Барыня? — еще спросил Петын.

— Матишина? Она здесь. Собирается только, — сказал я.

— А этот изобретатель?

— Здесь, — сказал Шурка. — Сам-то на работу поступил. Галя в госпиталь ходит медсестрам помогать.

Я хотел сказать, что у Андрея Глебовича сгорела дача, но промолчал. Что это — никому не говорил, а теперь скажу! Кстати, я вспомнил, что книжка про

шпионов «Они просчитаются вновь» сгорела вместе с дачей.

— Петын,— спросил я,— неужели того шпиона, у которого ты бумажник ткнул, так до сих пор и не поймали?

— Поймаешь их...— усмехнулся Петын.— Они же под хороших людей маскируются.

— Но многих ведь поймали,— осторожно возразил Шурка.

— Многих, но не всех,— объяснил Петын.— Шпионов в нашей стране еще много. Если б не они, совсем другая была бы жизнь. Гитлер чем силен? Тем, что он у себя всех шпионов...— И Петын так точно изобразил повешенного, что мне на минуту их всех стало жалко.

Только на минуту или еще меньше.

А потом я подумал: кто же эти люди, которые шпионили против Гитлера? Выходит, они за нас.

Я не успел додумать до конца, потому что Петын продолжил объяснение:

— Вот возьмем ту же Барыню, мать Ишина. Она по существу, по нутру своему чуждый элемент. Дворянка, гимназию кончила.

— Она не кончила,— перебил я Петына,— ее выгнали. Она двоечница была. Мне тетка говорила.

— А ты, Фриц, помалкивай,— сказал Петын.— Ты, Фриц, молчи в тряпочку. Почему твоя тетка дала тебе нерусское имя? Что, русских ей не хватило?

— В честь Энгельса,— робко сказал я.— У нас в роду никого немцев не было. Вот у Андрея Глебовича бабушка была немка.

Я не знаю, зачем я так сказал. Ну зачем? Мне стало стыдно, но почему стало стыдно, я не понял. Отчего-то мне даже показалось, что Андрей Глебович, Доротея Макаровна и Галя просили меня никому об этом не говорить. А я вроде бы предал. Хотя я точно помню, что меня никто не просил. Я точно помню. Просто я пришел к ним еще до войны, и Галя показала мне альбом. Там было много всяких фотографий на толстом картоне. На одной фотографии я увидел женщину, чем-то похожую на Галю. Эта женщина играла на арфе или делала вид, что играет.

«Это моя прабабушка, — сказала Галя. — Она была известной красавицей в Саратове».

Я прекрасно понимал, что у всех людей есть прабабушки. И все-таки такая молодая и красивая прабабушка меня удивила.

«Она немка, урожденная Штеккер. И вышла за моего прадедушку Кириакиса. Он был тиран».

«Тиран? — удивился я как дурак. — Разве в Саратове были тираны?»

«Он не по профессии был тиран, а по характеру. Он не разрешил своей жене пойти на сцену. А это у нас в крови. По профессии же мой прадедушка был кондитер, известный в Саратове кондитер».

Вот такой был разговор. Я точно помню. Это еще до войны.

Петын и Шурка смотрели на меня.

— Что же ты раньше молчал? — прищурился на меня Шурка.

Сам не знаю, для чего я добавил:

— Она хотела стать артисткой, но ей муж не разрешил.

— Да... — Петын опустил голову. — Я всегда чувал в них что-то не наше, а что — не понимал. Теперь ясно.

Мне и теперь было неясно, и потому я стал с интересом слушать Петына, хотя говорил он больше не мне, а Шурке.

— Жила в Ленинграде одна семья. Назовем ее условно Сысоевы. Сам Сысоев японец. — Петын говорил, как читал. — И вот в результате расследования Сысоев оказался офицером одного генерального штаба, заброшенным к нам еще до революции, чтобы сообщать своему микадо про наш военно-морской флот. Между прочим, этот Сысоев был замечательный портной. Он высшему командному составу шил обмундирование. Киттеля, клеши и так далее.

Шуркин отец тоже был хороший портной, и, наверно, поэтому Шурка отвел глаза в сторону.

— А кто Кириакис по нации? — спросил меня Петын.

— Грек, — сказал я.

— Да... — вздохнул Петын. — Оба вы, огольцы, глупые, у вас пыль на ушах.

Наступил вечер. Сережка, наверно, вернулся с за- вода и ищет нас, а мы сидим с Петиным и никак не можем уйти. Он молчит, о чем-то думает. Достал папи- росу. Для себя, нам не предложил. Сидит, курит, ду- мает. Может, о том шпионе. Может, о войне. Потом вдруг вспомнил про нас и говорит:

— Шурка, у Кобешкина водка есть?

— Не знаю, — ответил Шурка. — Вряд ли. От него последнее время динатуратом воняет.

— Значит, нет водки, — подвел черту Петын.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

Безногий сапожник Павел Иванович Кобешкин жил в подвале. В одной квартире с Байковыми. Он был не совсем безногий, а только частично. На одной ноге Кобешкин носил современный протез, и она каза- лась целой. Другая, отнятая по колено, кончалась де- ревяшкой, которую Павел Иванович во время работы отстегивал и клал рядом с верстаком. С одной стороны костыль, с другой — деревянная нога.

Все в доме знали, что ног Павел Иванович лишил- ся в первую мировую войну — в германскую, как гово- рил он сам. Знали, что он был в плену и там приобрел профессию сапожника. Кобешкин, когда бывал под му- хой — а под мухой он бывал ежедневно после обе- да, — любил рассказывать про то, какие сапоги он шил в плену офицерам и какие туфли шил офицер- ским женам. До войны Кобешкин часто говорил:

«В Германии товар не то что у нас. У них хром так хром, шедро так шедро. А дратва какая!»

Теперь Кобешкин говорил совсем иначе:

«У немцев товар — эрзац. У них все на эрзацах сделано. Чуть тронь — рассыплется».

Павел Иванович давно не шил новой обуви. Он был «холодный» сапожник, то есть чинил с ноги. Ко- му набойку, кому заплатку, кому каблук. Он сидел в будочке между двумя домами. С начала войны будоч- ку, по противопожарным соображениям, сломали, и теперь он работал дома.

— Пойдем к Кобешкину, — сказал Шурка.

«Наверно, Шурка или его мать, — подумал я, — отдали что-нибудь в дочинку».

Мы всегда ходили вместе и в магазин и за керосином. Пошли мы вместе и к Кобешкину. Я еще подумал, что Сережка вернулся с работы и неплохо бы поговорить с ним о Пetyне.

Павел Иванович Кобешкин, лысый человек с остатками рыжих волос возле ушей и на затылке, даже не посмотрел на нас, когда мы вошли и поздоровались. У него был полон рот гвоздей. Он вколачивал их в подметку ялового сапога.

«Трезвый», — понял я. Когда Кобешкин был пьяный, он всегда приветствовал ребят пионерским салютом. Для смеху.

После сноса будки все свое хозяйство Павел Иванович перенес домой, и комната показалась мне знакомой, хотя я был здесь первый раз.

Верстачок, полки для готовой обуви, ящики, куски кожи и резины на полу, деревянные колодки — все как в будке. Даже плакат-рекламу, украшавший будку, он перенес сюда и наклеил на стену своей комнаты. Плакат изображал смешную девчонку с челкой. Девчонка ела что-то из вазочки и ухмылялась. На плакате была надпись крупными буквами: .

А Я ЕМ ПОВИДЛО И ДЖЕМ!

Шурка сел на скамейку. Я рядом с ним. Сапожник видел, что мы ничего не принесли, и потому посмотрел на наши ботинки. Не увидев ничего, объясняющего наш приход, он вопросительно поднял глаза.

— Петын с фронта вернулся, — сказал Шурка, как бы объясняя цель нашего прихода.

— Знаю, — сквозь гвозди сказал Кобешкин. — Скажи ему, чтоб зашел. Он мне с мирного времени тринадцать должен.

Тринадцать стоила четвертинка водки, и Шурка обиделся за Пetyна.

— Он же с фронта. Раненый.

— Я тоже с фронта. И тоже раненый, — буркнул Кобешкин.

Мне не понравился этот разговор. Никакого благородства не было у Кобешкина. Вколотив последние

гвозди и проверив рукой, не торчат ли они внутри сапога, Кобешкин откинул его в сторону.

— Хороший человек и к обуви хорошо относится, не доводит до ручки. У Гаврилова обувь по сто лет может носиться. А иные интеллигентики стаптывают так, что только из уважения с соседству берусь чинить.

Эта был намек на мою тетку. Она так стаптывала туфли, что никто, кроме Кобешкина, не брал их в ремонт.

Кобешкин был не в духе. Шурка взглянул на меня. Мы вышли в коридор.

— Зайдем? — спросил я.

— Давай, — согласился Шурка.

Я толкнул дверь Сережкиной комнаты и прямо перед собой увидел Галю Кириакис. Этого я никак не ожидал. Что она тут делает?

— Привет! — сказала Галя. — Ты всегдаходишь без стука?

Она сидела на диване в голубой вязаной кофте и в красной косынке, из-под которой выбивались черные волосы. Черные Галины глаза засмеялись, когда она увидела мою растерянность.

— Те же и Назаров, — сказала Галя, увидев Шурку.

Мы стояли в дверях как ослы. В это время из другой двери в глаженной белой рубашке с галстуком появился Сережка. Вместо того чтобы поздороваться с нами, Сережка сел на диван рядом с Галей. Он смутился больше, чем мы с Шуркой.

Никогда я не видел рядом Галю и Сережку. Они, оказывается, очень подходили друг другу. Совершенно белобрысый, белобровый и розовощекий Сережка и чернявая, загорелая Галя.

— Мы в трамвае встретились, — объяснил Сережка.

— И решили пойти в кино без вас; — добавила Галя. — В «Заре» идут «Истребители».

— Ты же шесть раз смотрел, — сказал я Альбиносу.

— Он хочет посмотреть седьмой раз. В новой обстановке, — объяснила Галя.

Сережка молчал как рыба.

— Эх, ты... — скривился Шурка.

Здесь нам делать было нечего. Мы вышли на улицу.
— Что ж ты ему не сказал, что Петын вернулся? — спросил я Шурку.

— А чего ему говорить... Он зазнался.

Мы разошлись по домам.

Я лег на кровать и открыл «Виконта де Бражелона».

Тятя Лида сидела за своим столом и проверяла аспирантские тетрадки.

Тарелка репродуктора передавала сводку Информбюро, а потом артист Дмитрий Николаевич Орлов стал читать рассказ Лескова о Левше. Этот рассказ теперь передавали чуть не каждый день, и тетка каждый раз включала радио на полную мощность. Ей радио никогда не мешало. А мне всегда мешало. Я же не Юлий Цезарь, чтобы одновременно читать и слушать.

Между прочим, моя тятя Лида была точно как Юлий Цезарь. Проверяет тетрадки, слушает радио и разговаривает.

— Что-то Андрей Глебович не был вчера в бомбоубежище... Это правда, что он пошел работать на завод?

— Да, — отвечаю я покороче. — Он эту неделю в ночную.

— На какой же завод он пошел работать? — спрашивает тетка.

— Арматурный, — отвечаю я.

— Что ж он там делает? Утюги?

Дались ей эти утюги...

— Это теперь секретный военный завод, — говорю я, чтобы защитить Андрея Глебовича от вечных нападок тети Лиды.

— Какой же он секретный?! — усмехается тетя Лида. — Там же водопроводные краны делают.

— Это раньше, — говорю я. — А теперь каждый знает, что там делают минометы.

Про этот маленький заводик действительно все в нашем переулке знают, потому что многие там работают. А вот про завод, где Гаврилов работает, никто ничего не знает.

— Если это теперь секретный завод, зачем же ты болтаешь? — спрашивает тетка. — Болтун — находка для шпиона.

— А зачем ты спрашиваешь? — злюсь я и захопываю «Виконта де Бражелона».

Артист Орлов читает про то, как тульские мастера подковывали английскую блоху и на каждой подковке свое имя написали, да так мелко, что только в пяти-миллионный мелкоскоп эти надписи прочитывать возможно. Сам же Левша для этих подковок гвозди ковал. Эти гвоздики ни в какой мелкоскоп не видать. Тетя Лида всегда в этом месте смеялась. И мне это нравилось. Тут я вспомнил, что как раз про это место спорил с Андреем Глебовичем на даче. Он говорил:

«Рассказ прекрасный, но тебе следует понять суть. Идея усовершенствования блохи технически нецелесообразна. Ведь самое пикантное в том, что раньше блоха прыгала, а в результате усовершенствования прыгать перестала. И вообще, рассказ скорее грустный, чем веселый».

Тогда на даче меня это рассуждение просто удивило. Теперь я подумал, что у Андрея Глебовича бабушка — немка и потому он так рассуждает.

— Тетя Лида, — спросил я, — как понимать поговорку: «Что русскому здорово, то немцу смерть»?

— Это надо понимать так, Фридрих, что у русских, с одной стороны, и у немцев, с другой стороны, разные привычки и склонности, иногда прямо противоположные.

Тетя Лида умела объяснить все. И все ее объяснения получались скучными. За последнее время она научилась не называть меня по имени, а уж если приходилось, то говорила «Фридрих». И на том спасибо.

Вечер наступал медленно. Читать мешало радио. А будет ли сегодня воздушная тревога, еще неизвестно. Тревоги были тогда не каждый день. Я надел курточку и пошел гулять.

Возле подъезда стояло несколько взрослых. Они горячо спорили, стоит эвакуироваться или не стоит. Они спорили об этом с июня и никак не могли прийти к единому мнению. Все упиралось в вопрос, когда кончится война — через полгода или через год. Были в нашем доме люди, намекавшие, что война может продлиться больше года. Понятно, что на таких людей все смотрели с презрением.

Сегодня у парадного оказались самые заядлые спорщики.

— Не больше трех месяцев, максимум полгода, — говорила Василиса Акимовна Одинцова, женщина солидная, носившая полувоенную форму и значок «Готов к санитарной обороне СССР». В нашем доме Одинцова командовала санитарным звеном и звеном охраны порядка.

— Дура ты, дура, — по-свойски говорил ей сапожник Кобешкин. Они были земляки. Кроме того, Кобешкин успел выпить и оттого чувствовал себя умнее других. — Ты посчитай, сколько километров нам до Берлина переть. С другой стороны, мы их не попрем, пока всех сил не соберем. Вот и посчитай, сколько верст от Байкала до Москвы, а потом от Москвы до Берлина, потом раздели на сорок.

— Почему на сорок? — спросила Матишина.

— Потому что русская пехота более сорока верст в день никак не может.

Я хотел сказать, что пехоту теперь возят на грузовиках и на танках, но не стал вмешиваться.

— Они Смоленск взяли, — вздохнула тетя Катя, Шуркина мать. Она была из Смоленска и говорила только про это.

— Французы тоже Смоленск брали, — сказала Доротея Макаровна. — А чем кончилось?

Чем кончилось с французами, знали все. Но тетя Катя перекрестилась.

Поглядев на нее, перекрестилась Матишина.

— Вова прислал письмо, — сказала она, — что скоро приедет и увезет меня на восток. А это значит, что война может затянуться. Если бы пять месяцев, не было резона уезжать.

— Покидать Москву сейчас, когда каждый человек нужен для противовоздушной обороны, могут только малодушные и паникеры, — внятно произнесла Одинцова. — Другое дело с предприятиями. Тут уж стратегия и тактика.

В это время в нашем переулке появилась шикарная длинная машина, светло-бежевый «ЗИС-101». Такие шикарные машины в наш переулок заезжали редко, чаще всего — развернуться. Они для переулков не приспособлены. Но этот светло-бежевый «ЗИС-101» я

знал: до войны на нем приезжала жена директора завода, которая шила пальто у Серезжкиного отца.

«ЗИС» остановился недалеко от нашего парадного, и оттуда вылез слесарь Гаврилов в рабочем комбинезоне и небритый, может, дней пять или семь. Какой-то человек в шляпе и в очках высунулся из машины и сказал Гаврилову, вроде как подлизываясь:

— Вы отдохните, хорошо отдохните, Егор Алексеевич, а завтра за вами Витя подъедет. До свидания, Егор Алексеевич.

— Да, ладно,— ответил Гаврилов,— чего его гонять? Вы лучше к завтраму алмазные резцы обеспечьте.

— Да хоть бриллианты, — устало улыбнулся человек в очках и в шляпе.

— Бриллианты пока не нужны, а без резцов я...

— Обязательно, обязательно, — серьезно сказал человек в очках и в шляпе, придерживая дверцу.

— До свидания, — простился с ним Гаврилов. — Вы не волнуйтесь, Евгений Валентинович, все будет к сроку.

Машина отъехала, и Гаврилов подошел к нам.

По-моему, мы все стояли разинув рты и смотрели, как в нашем узком переулке разворачивается длинный светло-бежевый «ЗИС-101».

Что я знал про Гаврилова? Ну, во-первых, что у него пять дочерей. С Зойкой, самой старшей, я учился в одном классе. Каждое лето жена Гаврилова со всеми детьми уезжала в деревню. К первому сентября они возвращались. Уехали они и на это лето. Еще я знал, что Егор Алексеевич Гаврилов и Серезжкин отец, Степан Иванович Байков, из одной деревни и что это Гаврилов помог устроить Серезжку на завод учеником.

— Товарищ Гаврилов, — с особым почтением, какое я замечал чаще всего у людей выпивших, сказал Кобешкин, — ваши сапожки готовы, можете забирать.

— Спасибо, Павел Иванович, потом как-нибудь, очень спать хочется.

— Конечно, на кой ляд вам сапоги, вы теперь только в наркомовских машинах ездите, — неожиданно обиделся сапожник. — Вам теперь всю зиму в тапочках можно ходить.

Одинцова загородила Кобешкина своей широкой спиной и спросила:

— Гаврилов, скажи-ка нам, пожалуйста, когда кончится война?

— Через четыре месяца кончится? Но ведь не более года? Не более? — с надеждой спросила Доротея Макаровна.

— Это было бы кошмарно... — сказала мать Вовки.

Приди Гаврилов пешком, его бы так не допрашивали. Но он приехал в шикарной машине и говорил с человеком в шляпе об алмазах и бриллиантах.

Я тоже внимательно смотрел на Гаврилова и ждал, что он скажет. А он поморгал, как человек, который только что проснулся и еще хочет спать, и переспросил:

— Вы про что?

— Про войну. Каков ваш прогноз? — сказала мать Вовки Ишина.

Гавриловы жили как раз над ней. Это между их окнами висел скворечник, приколоченный к ноге женщины с прямым носом. Я когда-то думал, что это Гаврилов прибил скворечник, и спросил об этом Зойку. Мы тогда еще во втором классе учились. Зойка сказала, что скворечник у них общий, напололам с Ишиным. Но ей в то время верить было нельзя. Она до четвертого класса все время врала. Потом я забыл про этот скворечник, потому что в нем все равно никто не жил.

— Наша дискуссия носит принципиальный характер, Егор Алексеевич, — добавила мать Вовки Ишина. — Немцы сами сбросят Гитлера, потому что народ Гёте и Вагнера, Бетховена...

— Я с ней каждый день спорю! — зло посмотрев на Барыню, перебила Одинцова. — Она говорит: может, год.

— Ну-ну, спорьте, дискутируйте, — сказал Гаврилов и шагнул в глубь парадного.

— Егор Алексеевич, — с мольбой произнесла тетя Катя, — ты уж скажи нам. У меня мать с сестрой в Смоленске остались.

Гаврилов задержался в подъезде и, повернув к нам свое заросшее щетиной лицо, сказал:

— Бросьте вы ерундой заниматься: год, полгода... Года два, если не три!

Мы слушали, как Гаврилов поднимается по лестнице. Мы молчали долго, пока не затихли его шаги.

— Паникер! — сказала Одинцова. — Злобный паникер, сеющий злобные слухи.

— Пойду отнесу ему сапоги, пусть подавится! — сказал Кобешкин. — Хорошо ему в машинах ездить...

— Это минутное настроение, так сказать состояние аффекта, — сказала Барыня-Матишина. — Но в такое время человек должен владеть собой. Обязан владеть собой. Воспитанный человек — тот, кто умеет скрывать свои чувства.

— Зажрался, паразит! — не унимался Кобешкин. — Отнесу ему сапоги и кину в морду. Брильянтов ему надо... дерьма ему надо!

Все ругали Гаврилова так сильно, что я даже пожалел его. Мало ли что человек может брякнуть не подумав! По себе знаю.

— Он еще ответит за свое паникерство! — грозилась Одинцова.

Тут подошли Петын и Шурка и стали слушать, как ругают Гаврилова.

Петын сказал:

— Гаврилов — рабочая аристократия. Ему все равно — русские ли, немцы, французы, австралийцы. Ему на народные нужды наплевать. Такие люди при любом режиме жить могут — и при фашистах и при коммунистах. Везде сыты и обуты...

— Ты мне лучше три пятнадцать отдай, — неожиданно сказал Петыну Кобешкин.

— Крохеборничаешь, единоличник... — Петын медленно достал из кармана пятерку и передал ее Шурке. — Отдай ему, Шурик, мне неохота с этим типом разговаривать.

Кобешкин деньги взял и тут же заковылял к себе в подвал.

Я разозлился на Петына и Шурку. Петын всегда Шуркой командовал, а Шурка — как кролик дрессированный. И еще мне не нравилось, что Петын называет его Шуриком.

— Вот что, Василиса Акимовна, — сказал Петын как ни в чем не бывало, — я отдохнул, обратно на фронт мне еще не скоро, так что ты возьми меня в

свой отряд. Буду помогать защищать столицу от нападения с воздуха.

— Правильно! — обрадовалась Одинцова. — Сейчас каждый человек нужен, особенно мужчина. Пойдешь в звено охраны порядка!

— Всегда готов! — согласился Петын. — В случае тревоги куда мне являться?

— Лично ко мне, — объяснила Одинцова.

— Пошли, Шурик, — сказал Петын. — Теперь и я при деле.

Они пошли в дом Петына. На меня Шурка даже не оглянулся.

«Ну и не надо, «Шурик»!..» — подумал я.

Петын всех своих дружков называл по-особенному. Не Витька, а Витек. Не Толя, а Толик. Не Миша, а Мишаня.

Я пошел домой и, не зажигая света, сел у окна. Вот придет из кино Сережка, мы с ним все обсудим. Да и тревога, наверно, будет. На крыше-то мы встретимся обязательно.

Я не увидел ни Сережку, ни Галю. Налета в этот день почему-то не было, и я долго читал «Виконта де Бражелона». Потом я узнал, что Сережка и Галя после кино залезли на крышу и сидели там вдвоем. Это глупо. Могли бы меня позвать.

КАНИСТРА

Вы знаете, что такое канистра? Ну вот, а я в то время не знал. Тогда не было канистр. Ни металлических, ни пластмассовых.

Между прочим, из-за этой трофейной немецкой канистры на двадцать литров я позволил себе оскорбить человека. Теперь я понимаю, что история со скворечником была бы куда проще и яснее, если бы не эта трофейная канистра.

В то время на заводах работали в две смены, каждая по двенадцать часов.

Только подростки работали восемь.

Однажды утром к нам в квартиру пришел Андрей Глебович. Он поговорил о чем-то с тетей Лидой, а потом сказал мне:

— Хочешь пойти со мной за трофеями? Поможешь нести.

Мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком по какой-то кривой улице с длинным забором. Андрей Глебович с портфелем впереди, я — чуть поотстав. Наконец мы остановились у перекошенных ворот. Над воротами была вывеска: «Склад вторсырья».

Андрей Глебович очень вежливо поздоровался, назвал себя.

Охранник в полувоенной форме с петлицами и с берданкой, надетой как охотничье ружье, долго рассматривал бумажку, которую протянул ему Андрей Глебович. Я думал — не пустит.

— Сами будете отбирать или мне помочь? — спросил охранник.

— Только сам, — сказал Андрей Глебович. — Мне это нужно для научного эксперимента. Я инженер-изобретатель и буду искать на вашем складе «жемчужное зерно».

Каждый знает, что жемчужное зерно ищут только в навозной куче. Однако охранник на это почему-то не обиделся.

— А мальчонка? — спросил он про меня.

— Это мой ассистент, — сказал Андрей Глебович.

Никогда я не думал, что я ассистент, потому что ассистенты, так мне всегда казалось, бывают только у профессоров и фокусников.

— Ну пущай... — равнодушно сказал охранник, не взглянув на меня. — Только нынче у нас мало чего есть. Вчера пять машин на переплавку отгрузили.

В общем, это был никакой не трофейный склад, а просто свалка металлолома. В отдельной куче лежал металлолом трофейный, то, что уже никуда не годилось. Потом, после разгрома фашистов под Москвой, металлолома были горы. А тогда я увидел небольшую кучку.

Первое, что бросилось в глаза, — гусеница танка. Она была вытянута по земле и пролежала через лужу, как мостик. Вслед за Андреем Глебовичем я с удовольствием прошел по этому мостику.

Среди ржавых и покореженных железок трудно было выделить что-либо стоящее или просто хоть на что-нибудь похожее. Хотя нет, я увидел немецкую кас-

ку и поднял ее с земли. Карка казалась целой, но спереди у нее было маленькое ровное отверстие. «Пуля!..» — догадался я. Значит, одним фашистом меньше. Я представил себе нашего снайпера, винтовку с оптическим прицелом...

— Брось эту гадость, — сказал Андрей Глебович, — иди сюда. Тут кое-что попадается.

В руках у Кириакиса был непонятный предмет.

— Вот видишь, это домкрат. Оригинальная конструкция. И совершенно целый. Такая маленькая штуковина поднимает до трех тонн. А может, и до пяти. Ценная штука.

Не успел я разглядеть этот домкрат, как Андрей Глебович сунул его в мешок. Видно, мешок он принес в портфеле.

Мое внимание привлек скособоченный мотор. Он был расколот, и я увидел днища поршней и закопченные клапаны.

— Это авиационный? — спросил я Андрея Глебовича.

— Скорее всего, — ответил он. — Я мало понимаю в двигателях. Тут бы Владимиру Васильевичу посмотреть.

Андрей Глебович говорил о Вовке Ишине.

Рядом с двигателем я увидел какую-то штуку, похожую на железную кепку, вернее, на гриб мухомор, у которого вместо круглой шляпки разноцветная кепка с длинным козырьком. Из ножки гриба торчали три проводка, а под козырьком была узкая застекленная щель.

— Что это? — спросил я Кириакиса.

Он взял гриб в руки, долго вертел его, прочитал надпись по-немецки: «Notek». Это и я прочитал, хотя по немецкому у меня всегда были посредственные оценки.

— Что такое «нотек»? — еще раз спросил я.

— Молодец! — вместо ответа похвалил меня Андрей Глебович. — Ценная находка. Как я понимаю, это светомаскировочная фара. Свет бьет из-под козырька через эту щель, равномерно освещает дорогу, и притом самое пикантное, что источник света остается невидимым. Я слышал об этих фарах, но вижу впервые.

Судя по всему, наладить их серийное производство не так уж трудно.

Гриб он тоже сунул в мешок.

— Ну, кажется, кое-что выловили, — сказал Андрей Глебович.

— Пора идти? — спросил я, жалея, что для себя лично я среди этих трофеев ничего не нашел. Гриб мне был ни к чему, а Кириакису нужен для дела. Может, он действительно наладит их производство, и наши машины будут ездить по дорогам и оставаться невидимыми для фашистов.

Андрей Глебович протянул мне портфель, взвалил мешок на плечи и еще раз обошел кучу металлолома. Я стоял над каской и думал: не забрать ли ее все же домой? Вдруг Андрей Глебович окликнул меня. Голос у него был взволнованный.

— Наконец! Наконец нашел!

То, что он нашел, ни на что не было похоже. Какая-то продолговатая коробка с тремя ручками и горловиной. Бидон, просто бидон. И к тому же по этому бидону проехал автомобиль. Чему тут радоваться?!

— Неси, Федя: это то, что я искал, — сказал Андрей Глебович. — Это канистра. Моя канистра.

Андрей Глебович впервые назвал меня Федей. Ведь он сам говорил Гале, что Федя — это Федор, Теодор, но никак не Фридрих.

Охранник нас выпустил, не проверив, что мы несем. Он только подозрительно осмотрел самого Андрея Глебовича. Наверно, потому, что у того было очень веселое лицо.

Мы опять долго шли по кривой улице, ехали на трамвае.

В квартире Кириакисов мы выложили все на паркет.

Доротея Макаровна стала накрывать на стол.

— Погоди, — сказал Андрей Глебович. — Надо произвести один опыт, а потом с чистым сердцем и спокойной душой можно обедать.

— Ты не забыл, что тебе в ночь? — предупредила Доротея Макаровна. — У тебя опять разыграется язва.

Я очень устал, и мне хотелось есть. Но Андрей Глебович спокойно сказал жене:

— Дай мне примус.

Когда он говорил спокойно. Доротея Макаровна всегда слушалась его. Впрочем, он, как я заметил, всегда говорил спокойно.

Дальнейшее было мне не очень понятно. Андрей Глебович налил воду в сплюсненную канистру, мне дал нести еще горячий примус, на котором только что варился суп, и мы вышли во двор.

Недалеко от помойки мы развели примус. Андрей Глебович закрыл канистру и боком положил ее на кирпичи, сложенные вокруг примуса. Я молчал, хотя не понимал, зачем все это. Примус горел ровно, потому что кирпичи загораживали его от ветра. «Зачем ему кипятить воду в этом смятом бидоне?» — думал я.

— Отойди за угол и предупреждай всех, кто захочет подойти, — сказал Андрей Глебович. — Она может взорваться.

Теперь я понял, что он хочет взорвать канистру. Но зачем ему взрывать ее, если она и так никуда не годится?

— Самсе пикантное теперь — это вовремя выключить примус, — нарушив мои размышления, сказал Андрей Глебович.

Он сегодня второй раз говорил «самое пикантное».

Я отошел к углу дома и смотрел, что будет дальше. Лично я не верил, что канистра взорвется. В лучшем случае вышибет пробку.

— У нее пробка вылетит! — крикнул я Кириаису. — Вы встаньте так, чтобы вас пробкой не ударило.

— Пробка эта никогда не вылетит, — уверенно сказал он. — Пробка здесь самая надежная часть. Скорей разойдутся сварные швы. Марш за угол! — крикнул он.

Я невольно шмыгнул за выступ стены и ждал взрыва. Вместо взрыва я услышал шипение выключенного примуса и, когда выглянул из-за угла, увидел, что канистра раздулась, что все ее вмятины выправились и она стала даже слегка пузатенькой. Примус потух.

— Гениально! Гениально! — восклицал Андрей Глебович, кружась возле примуса.

«Да, ничего не скажешь, действительно гениально, — подумал я. — Даже Ползунов и Уатт не догадались бы, наверно, использовать силу пара, чтобы выправлять помятые бидоны». Но меня почему-то раз-

дражали восклицания Кириакиса и его танец вокруг потухшего примуса.

За обедом Андрей Глебович все время посматривал на свою пузатенькую канистру и потирал ладони. Посмотрит на канистру, подмигнет мне здоровым глазом, положит ложку, потрет руки и опять возьмет ложку.

Между прочим, обед был очень вкусный — и суп и котлеты. Тетя Лида не умела так хорошо готовить, у нее получались только пироги, и то три раза в год — 7 Ноября, 8 Марта и 1 Мая.

Андрей Глебович, видно, привык к вкусным обедам своей жены, потому что все время отвлекался и хвастал передо мной:

— Эх, малыш, учись, пока не поздно. Вот смотри на меня. Я изобретатель. Неплохой изобретатель, но все же не то. Если бы мне настоящее образование и если бы я знал математику, физику, химию, сопротивление материалов, я был бы не просто талант, я был бы Эдисон или Эйнштейн. Вовка (теперь он называл Ишина не Владимиром Васильевичем, а просто Вовкой), окончил знаменитое Московское высшее техническое училище имени Баумана — МВТУ. Он тоже талант. Но я бы с его знаниями... У меня что — музыкальное училище, сольфеджио и нотная грамота, бемоли и диезы!

— А он?.. — спросил я. — Он что изобретает?

— Ну, он... Он головастый парень. Над чем он работает, нам с тобой и не понять, если бы даже рассказал. Да он и не скажет.

— Он самолеты изобретает? — спросил я, невольно проникаясь уважением к человеку, который работает над чем-то очень секретным.

— Самолет изобретен давно, — назидательно сказал Андрей Глебович. — Он, видимо, усовершенствует двигатели или даже создает их заново. Вовка с детства о межпланетных полетах мечтал. Он еще в школе всего Циолковского вызубрил.

Надо сказать, что меня тогда межпланетные полеты интересовали меньше всего. Я прочитал только «Из пушки на Луну» Жюль Верна. Но эта книжка понравилась мне куда меньше, чем «Таинственный остров».

— Я как-то по соседству зашел к нему годика два назад, — продолжал Андрей Глебович. — Володя си-

дит, что-то пишет. Заглянул через плечо — одни формулы... Однако и я не унываю.

Мы перешли уже к компоту. Компот тогда еще был в магазинах. За маслом и мясом стояли очереди, а компот еще был.

— Я не унываю. Я тоже на своем месте. У меня ведь шесть изобретений. Шесть патентов. Потому что в мире есть еще многое, что нужно изобрести. Вот возьми немцев. Что ни говори, а они по этой части большие молодцы.

— По какой части? — насторожился я. Интересно, по какой это части молодцы немцы?

— Ну, по части бытового и вспомогательного изобретательства. Да и не только.

— Никакие они не молодцы! — отрезал я. — Если бы они были молодцы...

Что бы они сделали, если бы они были молодцы, я не знал и потому рассердился еще больше.

Андрей Глебович словно и не заметил моего тона. Он вылез из-за стола и взял канистру в руки.

— Посмотри, какая простая штуковина! Что это? Простой бак. Емкость, так сказать. Для горючего — бензина, керосина или смазочных масел. Мелочь? Нет, не мелочь. Самое пикантное, что это не мелочь.

Он сегодня в третий раз произнес эти слова-паразиты.

— Техническая находка здесь прекрасна. И моя задача — как можно скорее запустить такие канистры в производство.

Он стал крутить канистру перед моим носом.

— Простейший штамп. Чуть сложнее — с горловиной. Минимум сварочных швов — все. Мелочь? Да. Но мелочи изменяют лицо мира! Это не просто емкость. Это еще и понтон. Тело, погруженное в воду, теряет в своем весе столько, сколько...

— Знаю, — сказал я. — Проходили.

Андрей Глебович не обратил на мои слова никакого внимания.

— Если принять вес канистры за два килограмма, значит она может держать на воде восемнадцать. Легко сосчитать. Допустим, вес автомобиля — три тонны. Значит, сто семьдесят — двести канистр, на них доски — и готов понтонный мост, по которому пройдет ав-

томобиль. Под эти ручки легко просунуть доски на всем протяжении моста. Можно составить не двести, а две тысячи штук. Такой мост практически непотопляем.

— Чепуха! — сказал я.

Андрей Глебович так удивился, что молча уставился на меня.

А я представил себе, как через нашу русскую речку по соединенным досками канистрам, громыхая, идут фашистские танки и грузовики с солдатами, кричащими: «Хайль Гитлер!» Тетя Лида часто говорила, что у меня слишком хорошее воображение и мне это будет мешать в жизни.

— Чепуха! — злорадно повторил я. — Что русскому здорово, то немцу смерть. Вам потому нравится все немецкое, что у вас бабушка немка.

Доротея Макаровна ахнула, а я встал из-за стола и подошел к окну.

Передо мной была колокольня. Колокольня с пустыми, зияющими арками. Там летали вороны. Белая-белая колокольня, как палец с острым наперстком, уходила в серое небо.

За моей спиной не раздавалось ни звука. Лучше бы мне дали пощечину и выставили за дверь.

— Что с тобой, мальчик? — спросил Андрей Глебович.

Я и вправду не знал, что со мной. Мне вдруг захотелось плакать.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — еще тише спросил Андрей Глебович.

— Понимаю! — крикнул я на всю комнату. — Очень хорошо понимаю. Немцы убивают наших советских людей, а вы говорите, что они молодцы!

— Ты с ума сошел! — с ужасом сказала Доротея Макаровна. — Выпей воды. Разве можно так говорить со старшими?! Ведь Андрей Глебович тебе в отцы годится. Одумайся, Фриц!

— Я вам не Фриц! — каким-то тонким голосом закричал я. — Я вам не Фриц, и вы не годитесь мне в родители. Я Крылов, у меня фамилия есть! Я русский! А вы немцы, немцы! И вы немка, Доротея Макаровна!

— Вон! Вон отсюда! — зарычал Кириакис.

Я бросился к двери. Слезы застилали мне глаза.

— Погоди! Погоди! — кричала вслед Доротей Макаровна. — Погоди, дурачок! Я не немка, я русская. Я Дарья. Понимаешь — Дарья. Дарья Макаровна Новичкова.

Но я не слушал. Я выскочил в прихожую и чуть не сбил с ног Барыню, которая возле вешалки снимала с себя бархатное пальто.

СЕРЕЖКА-АЛЬБИНОС

Хорошо, что тети Лиды не было дома. Я пришел в таком состоянии, что она наверняка полезла бы ко мне с вопросами. Что я мог ей сказать?..

Тятя Лида никогда меня не понимала, хотя и воспитывала с трех лет. Моя мама была врачом и умерла во время какой-то эпидемии. Я ее не помнил совсем. Отец работал строителем и все время разъезжал по разным Магниткам, Кузнецкам, Игаркам, то есть по городам, о которых я знал только из учебника географии. Отец утонул в Енисее, когда мне было шесть лет. Его я помню. Он ходил в сапогах и гимнастерке под широким ремнем. Я знал, что он воевал на Гражданской войне, что у него было именное оружие — наган от самого Климента Ефремовича Ворошилова. Нагана этого у нас не осталось, потому что отец всегда носил его с собой и вместе с ним утонул!

Мне всегда казалось, что он утонул, как Чапаев, переплывая реку, и что по нему стреляли враги. Я знал, что это не так, что на самом деле отец утонул зимой. Ночью шел с какого-то совещания и провалился в полынью.

У нас в Москве от отца осталось только удостоверение на право ношения оружия и его письма к тете Лиде. Мне он писем не писал, потому что я тогда еще не умел читать. Письма все были похожи одно на другое. Все они начинались словами: «Строители и изыскатели в моем лице приветствуют вас, дорогая сестрица, из далекого...» Потом шло название города, который был уже построен или еще только строился. Заканчивались письма также одинаково: «Коту Ваське передай....» Дальше шло, что нужно передать мне, потому что отец чаще всего называл меня котом Васькой.

Насколько «Васька» лучше «Фрица»!

Тетя Лида говорила, что котом Васькой я стал, когда съел всю сметану, которую она приготовила для борща. Это было очень давно. Отец с матерью приехали в Москву к тете Лиде. Они разговаривали и ждали, пока сварится борщ. А я съел всю сметану. Я лично этого не помню.

Честно говоря, мне с тетей Лидой было неплохо, хотя мы совершенно разные люди. Во всяком случае, я никогда не понимал, почему в книжках так жалеют сирот. Меня в нашем доме никто не жалел. Даже наоборот, сапожник Кобешкин однажды сказал:

— Тебе, пионер, полная лафа, потому что тетка лучше, чем отец с матерью. Меня отец вожжами бил, а мать — скалкой.

Конечно, меня бы мои родители не били, но, с другой стороны, это тоже неизвестно, потому что в жизни всякое бывает. Тетка и та иногда жалела:

— Бить тебя некому!

Обо всем этом думал я, лежа на своей кровати. Слезы просохли, но жалость к самому себе не проходила. В тот день я, может быть, впервые почувствовал, как мне нужен отец. Я бы рассказал ему про Кириакисов и про канистру. Он бы взял наган, пошел к ним и во всем разобрался. Во всем!

В чем во всем, я не очень понимал, но чувствовал, что я разобрался не во всем. «Что-то не так, что-то не так», — думал я. И меня злило, что я разревелся, как девчонка. Хуже всего, если они заметили, что я плакал.

Встав с кровати, я включил радио. Передавали песни советских композиторов.

«Песня из кинофильма «Остров сокровищ».

Я очень любил эту песню, начал подпевать и немного повеселел.

Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...

Я посмотрел на себя в зеркало. Лицо у меня круглое и совершенно незапоминающееся. Я всегда удивлялся, как меня отличают от других ребят. Сначала я думал, что по одежде. А потом догадался: у других-то

лица запоминающиеся! Сережка, например, белобрысый, с белыми ресницами и розовой кожей. Шурка чернявый и красивый. А я не черный и не белый, не красивый и не урод. Так меня и отличали от других ребят.

Вечером я слонялся по переулку и ждал Сережку. Шурка сидел у Петына. Он несколько раз звал меня послушать, какие новые песни поет Петын. Я не мог пойти, мне нужно было дожидаться Сережку, встретить его, рассказать про Андрея Глебовича и предупредить насчет Гали.

Конечно, думал я, это еще не значит, что все Кириакисы наши враги. Может быть, он ничего плохого нам и не делает. Но тут ухо надо держать востро. Не зря же ему так нравится немецкая канистра, а то, что Левша подковал блоху, вызывает возражения. Кровь говорит. И ему, видите ли, не нравится, что блоха перестала прыгать. Он говорит, что это технически нецелесообразно. А зачем ей, собственно говоря, прыгать? Она же не живая. Наверно, в нем кровь говорит. Голос крови. Я где-то читал про это.

Потом я подумал, что Андрей Глебович работает на военном заводе. Хотя и арматурный, однако теперь-то военный. Он может знать тайны. Нет, твердо решил я, тут молчать нельзя. Я должен предупредить Сережку, рассказать всю правду. Он комсомолец, он лучше меня в этом понимает и сам работает на авиационном заводе. Пусть Сережка разберется, пусть поговорит с Галей, потому что Галя тоже комсомолка, потому что она ходит в госпиталь и хочет стать медсестрой.

А если и она думает, как ее отец? Если и она... Недаром же говорят, что яблоко от яблони недалеко падает.

Темнело, и становилось холодно. Возле подъезда никого не было.

В окнах спустились светомаскировочные шторы. Тихо. Только из деревянного домика, где живет Петын, изредка доносятся его голос и звон гитары.

Вдруг из-за церкви появились двое.

Я так и знал. Сережка Байков, как назло, шел вместе с Галей Кириакис. Неужели они опять случайно встретились в трамвае?

Так или иначе, а времени терять нельзя. Я пошел

им навстречу. Я не знал, как с ними здороваться, и Галя опередила меня:

— Привет, Федя! Ты нас ждешь? Соскучился?

Я кивнул и трусливо пробормотал:

— Мне с Сережей надо поговорить. Наедине.

— Успеешь наговориться, — сказала Галя. — Почему к нам не заходишь? Отец говорил — ты ему за чем-то нужен. Зайди сейчас, а то он на работу уйдет.

— Спасибо. — Я ответил так, чтобы она поняла. — Большое спасибо. Я уже заходил к вам.

Галя положила мне руку на голову и заглянула в глаза.

Или потому, что она такая красивая, или еще почему — не знаю, но мне вдруг опять стало себя жалко.

— Мне с Сережкой поговорить надо. Он тебе все потом расскажет, — пробубнил я и отвернулся.

— Ну ладно, — сказала Галя. — Секрет есть секрет. Только ты не расстраивайся. Все будет хорошо.

Недаром мне себя стало жалко. Вот меня уже и другие люди жалеют.

Галя помахала Сережке рукой. Она как-то очень красиво помахала рукой. Наверно, ее в балетной школе научили. Она пошла вперед. Мы отстали.

— Что-нибудь срочное? — спросил Сережка.

— Да. Очень срочное и очень секретное.

— Долгий разговор?

— Долгий.

— Тогда пойдем ко мне, все подробно расскажешь. Мать нам мешать не будет.

Мать Сережки, тетя Клава, широколицая, незаметная, всегда молчаливая женщина.

— Здравствуйте, ребятки, — сказала она, отворив дверь. — Проходите, сейчас ужинать дам.

Сережка долго мылся. Мать возилась на кухне. Я сидел один, и мне захотелось есть. Сегодня такой день, что я и обедаю и ужинаю в гостях. Пообедал у Кириакисов и поругался с хозяевами. Не хватает только, чтобы я после ужина поругался с Сережкой.

Мы ели с Сережкой из одной сковородки. Картошка была поджарена на постном масле и заправлена луком. Запивали мы картошку сладким чаем. Тетя Клава не ела с нами. Она сидела, подперев голову кулаками, и смотрела на сына. За весь ужин она сказала

только, что целый день простояла в очереди за мясом, но мяса ей не хватило.

— Война, мама, — ответил Сережка, будто мать сама этого не знала.

Когда сковорода опустела и чай был допит, Сережка посмотрел на меня и сказал матери:

— Нам с Крыловым поговорить надо. Вы извините, мама.

У них так в семье принято. Сережка и отца и мать называл на «вы».

Мы остались вдвоем, я долго не знал, как начать.

— Ну, — поторопил Сережка, — какие у тебя секреты?

— Я к тебе как к старшему товарищу, как к комсомольцу, — начал я строгим голосом. — Это вопрос государственный. Только выслушай меня внимательно.

Сначала я рассказал про то, как у Кириакиса горела дача, и про то, что Андрей Глебович был совершенно спокоен. Будто это не его дача горит. Я честно признался, что тогда ничего не заподозрил. Просто подумал: вот какой спокойный человек! Я совершенно упустил из виду, что у него бабушка чистокровная немка, урожденная Штеккер.

Сережка нахмурился.

— Я понимаю, — сказал я, чтобы он не обиделся, — ты дружишь с Галей. Но ведь дочь за отца не отвечает.

— Давай, давай, — кивнул Сережка, — я слушаю.

Я сказал, что на мысль о симпатиях Кириакиса к немцам меня натолкнул Петын и, если бы не он, я до сих пор ходил бы, развесив уши на просушку. Потом я вспомнил, как мы спорили с Андреем Глебовичем про Левшу, который подковал блоху, и что не зря ему не нравится этот замечательный рассказ. Наконец дошла очередь до сегодняшнего дня. Я рассказал, как он восторгался немецкой светомаскировочной фарой, как танцевал вокруг примуса, как восхвалял немецкий бидон под названием канистра.

— И главное, — дрожащим голосом закончил я, — он сказал: молодцы.

— Как он точно сказал? — спросил Сергей.

Я постарался вспомнить точно и повторил слова Андрея Глебовича:

— Он сказал, что немцы — молодцы. Понимаешь, Сережка, ведь он работает на очень важном заводе, а говорит, что немцы — молодцы. «Они в этом деле молодцы».

— В каком? — очень строго спросил Сергей.

— Нет, он сказал: «Они по этой части молодцы».

— По какой? — настаивал Сергей, и мне не понравилось, что он так настаивает на мелочах.

— По части изобретений, — сказал я.

— А ты как думаешь?

Я молчал, потому что никогда про это не думал.

— Ты думаешь — они дураки?

— Они хитрые. А он их восхвалял.

— Так, — сказал Сережка. — Значит, они в технике довольно хитрые. Можно даже сказать, что у них есть отдельные достижения. Так?

— Так, — искренне согласился я.

— А раз так, значит, то, что он хвалил их достижения и говорил о необходимости перенимать у них лучшее, не значит, что он их восхвалял. Так?

Теперь я не согласился.

— Если бы ты видел, как он вертел эту канистру перед моим носом!

— А как ты вертел передо мной немецким погоном? — перебил меня Сережка. — И ведь ты выменял немецкий погон на нашу советскую авто ручку.

Такой подлости я от Сережки не ожидал.

Одно дело я, другое дело Кириакис. Неужели я и с Сережкой поругаюсь сегодня?

— Сравнил! — сказал я. — Ты же меня знаешь!

Сережка как-то странно на меня посмотрел.

— Знаю. Допустим, что знаю. А ты Андрея Глебовича знаешь?

— Знаю, — сказал я.

— Ну вот! — чему-то обрадовался Сережка. — Ты знаешь Андрея Глебовича и подозреваешь его. Я знаю тебя и подозреваю тебя. Шурка знает меня и будет меня подозревать.

— Конечно, — сказал я, — мы должны зорко следить друг за другом.

— Так прямо и следить?

— А что же, — сказал я, — следить!

— Ну, следи, — сказал Сережка, — следи. Может, из тебя Шерлок Холмс вырастет.

Я обиделся. Пришел поговорить с ним как с комсомольцем, а он мне про Шерлока Холмса.

— Беспечный ты, Сережка, — сказал я. — Вот возьми д'Артаньяна. Что было бы, если бы он поверил миледи?

Сережка почему-то засмеялся и спросил меня:

— Ты с Кириакисом в бане был?

— Нет, — ответил я. — У нас ванная работает. А что?

— А я был, — сказал Сережка. — И я заметил, что у него на плече никакой лилии нет.

— Большой ты, а дурак, — сказал я.

Если бы не разница в возрасте, честное слово, я бы поругался с Сережкой. Или он со мной. Лилии ему нужны! И все из-за Гали. Если бы не его дружба с Галей, он был бы бдительней.

Я вышел из подвала, и ноги сами понесли меня к Петыну.

У него было весело. Петын сидел на койке в растянутой гимнастерке, без ремня. На коленях у него лежала гитара с голубым бантом. На столе — бутылка водки, прямо на клеенке — груда килек и огурцы.

Шурка Назаров сидел на полу и с восхищением смотрел на Петына и на его гостя. В гостях у Петына сегодня был Толик-Ручка. Я этого Толика видел раньше, когда Петын еще не бросил воровать. Толик был худой блондин с острым носом. Он сидел на единственном венском стуле и держал в руке граненый стакан, как бы ожидая, что Петын нальет ему водки. Видимо, одну бутылку они уже распили — она валялась под столом.

— Так вот, Толик, — продолжал Петын рассказ, прерванный моим приходом, — и вижу я, что фриц... — тут он поднял на меня глаза, — и вижу я, что фриц целится прямо в моего командира. А командир у нас был замечательный человек. Хотел я предупредить командира, крикнуть ему «Ложись!», да чувствую — не успею. Тогда я кинулся вперед и заслонил командира собственной грудью... Так я эту пулю и получил. Командир бросился ко мне, чтоб поднять,

значит, а снайпер второй выстрел дал — и наповал его!

— Из винтовки или из автомата? — спросил я.

— Из винтовки, — сказал мне Шурка. — Снайперы из автоматов не стреляют.

— А с поля боя вынесла меня санитарка. Тамарочка. Пела она хорошо. — Петын взял на гитаре несколько аккордов и запел:

Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше, чем любовь.

Веселья час и боль разлуки
Готов делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года...

Мне всегда нравилось, когда Петын пел.

— Петын, — сказал я, — у Кириакиса патефон есть и пластинки Вадима Козина, так ты поешь лучше, чем Козин.

— Чтоб хорошо петь, душу надо иметь, — сказал Петын. — А ты к этим немцам все еще ходишь?

— Ну, они не совсем немцы, — возразил я. — Кроме того, я с ними поругался сегодня.

— И к Барыне захаживаешь?

— Нет. Видел ее сегодня.

— Небось паникует интеллигенция? — спросил меня Петын.

— Не заметил. Они на вид спокойные все. Ты знаешь, Петын, вот Кириакис, например, очень спокойный. У него, когда дача сгорела, он на вид совсем не волновался, прямо будто это не его дача горит. А ведь дача была новая. И вся сгорела. Только одна уборная осталась.

Я сегодня второй раз рассказывал, что у Кириакиса сгорела дача. Первый раз Сережке, когда говорил о подозрениях, а второй раз сейчас — Петыну. Сережка пропустил мои слова мимо ушей. Петыну я рассказывал, чтобы защитить Кириакиса, но он, видимо, понял то, чего не понял Сережка.

— Сгорела дачка? Подумаешь, большая для него

потеря! Гитлер ему новую постройт, со всеми удобствами.

Такое объяснение мне не приходило в голову. Так вот почему был спокоен Андрей Глебович...

Шурка посмотрел на меня с укором. Ведь ему-то я мог сказать, что у Кириакиса сгорела дача!

Петын разлил водку — Толику и себе. Они выпили, и Петын опять запел:

Наш уголок нам никогда не тесен,
Когда ты в нем, то в нем цветет весна.
Не уходи, еще не спето столько песен,
Еще звенит в гитаре каждая струна.

Мне очень хотелось, чтобы Петын снял гимнастерку, тогда я увидел бы его рану. Я никогда не видел огнестрельного ранения. И еще я помню, что у Петына на груди была очень красивая наколка. Там были три карты, бутылка и женщина с рыбьим хвостом. Под всем было еще вытатуировано: «Нет в жизни счастья!»

Когда мы с Шуркой впервые увидели у Петына эту наколку, мы тоже решили что-нибудь себе выколоть. Шурка хотел на левой руке выколоть свое имя, но ему тогда помешал отец. Выпорол ремнем. Получились только две палочки от буквы «ш». А я хотел выколоть себе что-нибудь покрасивее, например, орла, несущего в когтях сына капитана Гранта. Я даже перерисовал эту картинку из книжки, но до наколки дело не дошло. Нас отправили в пионерлагерь, а там против наколок сильно боролись.

Петын разлил из бутылки последнее, что там было, и Толик встал.

— Ну, Петушок, — сказал он Петыну, — давай пять, держи три.

Это он потому так сказал, что у него на правой руке было всего три пальца. Из-за этого и звали его Толик-Ручка. Нам он тоже протянул руку, надел пальто и вышел.

Мы сидели еще долго, до самой ночи. Петын пел, попеременно рассказывал нам про войну и про свое увлекательное прошлое.

Даю честное слово, мне не все нравилось в Петыне, но многое все-таки нравилось. Что ни говори, а человек бывалый и с характером. И ум острый.

Хотя мы и ждали воздушную тревогу, но все-таки она прозвучала для нас неожиданно. Сколько раз мы слышали слова диктора, а всякий раз замирало сердце.

«Граждане! Воздушная тревога!»

«Граждане! Воздушная тревога!»

«Граждане! Воздушная тревога!»

Завыли сирёны. Петын положил гитару на подушку и скомандовал нам:

— Ну, огольцы, по местам! Довольно прохладаться.

Сережка Байков ждал нас с Шуркой у входа на черную лестницу. Шурка, как всегда, стал подниматься первым, я — вторым, Сережка — последним. Вдруг Сережка взял меня за руку, приостановил и тихо, так, чтобы не слышал Шурка, сказал:

— Ты заметил, мать моя была сегодня не в себе немного? Это она при тебе сдерживалась. А ты ушел, она до самой тревоги плакала, никак успокоить ее не мог. И сам до сих пор дрожу. Оказывается, на отца-то на моего похоронная пришла... Я думаю, может, это ошибка? Последнее письмо было, что скоро на фронт отправят, а тут — сразу. Ты Шурке не говори. У них от отца давно писем нет.

На крышу нашего дома мы поднялись, не обменявшись больше ни словом.

В эту ночь и случилась история, с которой я начал вам все рассказывать.

ОПЯТЬ ЭТОТ СКВОРЕЧНИК

Мы сидели на крыше, вернее, в слуховом окне. Осколки снарядов то и дело дырявили старое, проржавевшее железо. Мы сидели молча, никому не хотелось говорить. Сережка сказал первый:

— Зашел сегодня в магазин, а там — шаром покати. Скоро одни крабы останутся.

Я понял, что Сережка думает о матери. Ведь он теперь кормилец! Я знал об этом, а Шурка еще не знал.

— Интересно, для кого этих крабов делают? — сказал Шурка Назаров. — Я лично их ни разу не пробовал и не видел человека, который бы их ел.

— Матишина один раз покупала, — сказал я. — Никто их не берет, а она назло.

— И еще ячменное кофе «Здоровье», — сказал Сережка.

— Не ячменное, а желудевое, — поправил его Шурка.

Сережка не стал спорить. Я тоже, хотя знал, что кофе ячменное, и даже не ячменное, а ячменный. Кофе, как это ни странно, мужского рода. Но Шурку не переспоришь.

В магазине на Пятницкой из банок с крабами и пачек кофе были сложены целые пирамиды. За одним прилавком пирамида крабов, за следующим — кофе «Здоровье». И ничего больше. Ну, там еще — лавровый лист, душистый перец, горчица. Остальное, как появится, сразу нарасхват. И очереди.

— Сегодня они зажигалки кидать не будут, — сказал Шурка.

В его словах не было ничего интересного. Фашисты теперь редко сбрасывали зажигательные бомбы. На массовые пожары они уже не рассчитывали. Теперь они кидали фугасные бомбы и старались целиться в важные объекты.

— Глядите! — Сережка показал рукой.

Но мы сами видели, как за Крымским мостом три прожектора поймали вперекрест фашистский самолет.

Возле нас стрельбы стало меньше. Зато там рвались снаряды. Там, в белом слепящем свете, готовился к смерти какой-то фашист.

— «Юнкерс-87», — сказал Шурка.

Мы опять не стали спорить. Попробуй различи отсюда! Подбитых «юнкерсов» мы видели на площади перед Большим театром, в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького, когда там была выставка трофеев.

Мы могли по звуку мотора отличить наш самолет от немецкого. Мы привыкли к шипящему посвисту осколков. Мы могли, или так нам казалось, по звуку отличить двухсоткилограммовую фугасную бомбу от полутонной, и мы не вздрагивали от свиста. Но теперь мы вздрогнули: где-то совсем рядом зазвенел звонок. Сильный. Сильнее, чем школьный.

Мы выскочили из слухового окна и увидели, что колокольня против нашего дома освещена ярким электрическим светом. Колокольня была белая-белая, и

черными провалами зияли сквозные арки без колоколов. Вдруг свет погас, и звонок перестал звенеть. Неужели померещилось?

Не успел я об этом подумать, как вновь вспыхнул свет и зазвенел звонок.

Нам говорили, что с самолета видна зажженная спичка, что луч карманного фонарика виден на несколько километров. Свет, вспыхивающий в нашем переулке, наверняка можно было заметить и на подступах к Москве. Мы окаменели от ужаса. По тому, как падала тень, было ясно, что эта сильная, в сто или двести свечей, электрическая лампочка установлена на нашем доме. Значит, здесь, в нашем доме, находится шпион или диверсант!

Шурка бросился к самому краю крыши и, уцепившись за какой-то выступ, свесился вниз головой.

— Между пятым и шестым этажами! — крикнул Шурка.

Он вскочил и, спотыкаясь, кинулся куда-то.

— Там пожарная лестница, — сказал Сережка и побежал за ним.

Я бежал третьим. Я не слышал и не видел, как рвутся в небе снаряды, как бьют зенитки, как громахает под нашими ногами старая крыша. Я только слышал, как звенит звонок, видел, как возникает из мрака и исчезает во тьме белая колокольня.

«Зачем звонок?» — подумал я, подбегая к пожарной лестнице.

А Шурка, уже стоя на ней, крикнул:

— Звукоуловители!

— Неужели у них и на самолетах есть звукоуловители?

Оказывается, я не подумал, а спросил вслух.

Мы не удивились, что именно на нашем доме враги установили сигнал. Рядом — мост, Кремль и электростанция.

Пожарная лестница была установлена на длинных кронштейнах далеко от стены, расстояния между перекладинами большие. Но Шурка спускался первым, и мы, еще не понимая, зачем он лезет, спускались за ним.

— Скворечник! — хрипло прокричал Шурка снизу.

И я увидел, что лампочка установлена именно в

скворечнике. В том самом скворечнике, который очень давно, задолго до войны, кто-то прибил прямо на лепные украшения между пятым и шестым этажом.

— погоди! — кричал Сережка. — погоди, я длиннее!

Он кричал это потому, что Шурка пытался перебраться с лестницы на карниз. Одной рукой он держался за лестницу, а другой тянулся к водосточной трубе, и если бы кронштейн лестницы был здесь, а не этажом ниже, Шурка перебрался бы и прошел по карнизу. Он это мог.

Свет в скворечнике то вспыхивал, то исчезал, то освещал Шурку, распластавшегося в воздухе, то скрывал его во мраке. Мы с Сережкой застыли, вцепившись руками в ржавую перекладину пожарной лестницы.

Над нами шарили по небу прожектора, висели аэростаты воздушного заграждения; под нами был булыжник переулка; справа виднелись башни Кремля. А рядом, совсем рядом, в скворечнике, вспыхивала и гасла предательская, злобная, яркая, электрическая лампочка в сто или двести, или, может быть, в триста свечей. И я вспомнил, что в этом скворечнике никогда не жили скворцы.

«Так и знал, — подумал я. — Так и знал!»

Лампа в скворечнике вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, звонок то звенел, то замолкал. Это продолжалось бесконечно долго. Шурка все еще пытался дотянуться до карниза, как вдруг окно в комнате Кириакиса растворилось и на улицу вырвался целый сноп света. Он быстро погас. Видно, в комнате выключили электричество. Какой-то человек — мы не разобрали, кто это, — держась рукой за оконную раму, другой рукой шарил по стене за окном, потом дернул за провода раз и другой. В скворечнике вспыхнул свет, зазвенел звонок, и в этот момент скворечник отделился от гипсовой женщины, к которой был прибит, и полетел вниз. Он летел, светился и звенел. Еще один рывок.

Скворечник оторвался от проводов, грохнулся о тротуар. В нем что-то звякнуло.

Тьма окутала переулок. Окно в комнате Кириакисов закрылось, и мы опять стали подниматься вверх

по пожарной лестнице. У меня дрожали руки, и кажется, я весь дрожал.

Шурка вылез на крышу последним. Пока он не вылез, ни я, ни Сережка не произнесли ни слова: Мы почему-то думали, что Шурка что-то нам скажет — ведь он был к окну ближе всех.

Но и Шурка молчал.

Нам очень хотелось спуститься вниз и выяснить, что же произошло, кто шпион в нашем доме и кто тот герой, который вылез из окна и сорвал скворечник. Мне показалось, что скворечник сорвал Петын. О том, кто его повесил, этот проклятый скворечник, говорить сейчас было бессмысленно. И так понятно: скворечник висел над окнами квартиры, где жили Ишины и Кириакисы, ближе к окнам Барыни. Но, с другой стороны, срывали провода из окна комнаты Андрея Глебовича, следовательно, они туда и вели. Значит — это и дураку ясно, — либо Барыня, либо Андрей Глебович.

Правда, оставался еще слесарь Гаврилов, который жил этажом выше. Я вспомнил, что он был человек хмурый и про окончание войны говорил подозрительно. Скорее всего, Кириакис. Я это предчувствовал.

Так или иначе, но сейчас воздушный налет приобрел новое, куда более злое значение, чем раньше. Сигнал явно должен был указать врагу не наш дом, а объект поважнее. Ну, хотя бы мост, электростанцию или, хуже всего, Кремль.

Мы с ужасом ждали, что будет. Сейчас было не до шпиона. Его-то уж поймут!

Над нашими головами шарили по небу прожектора, рвались снаряды. Мы ждали свиста огромной фугасной бомбы, мы замерли и напряглись. Уйти с крыши в этот момент было невозможно.

Постепенно прожектора и зенитки удалялись от нашего дома куда-то в сторону Серпуховки.

— Не смогли прорваться, — сказал Шурка. — Шпион показал им, куда надо прорываться, дал им ориентиры, а они все равно не смогли.

— Конечно, тут же азростаты, — сказал я.

— Кто бы подумал... — сказал Сережка. — Сколько лет висел скворечник, и, оказывается, для этой ночи...

Налет кончился к утру.

Мы спускались по черной лестнице так же, как и поднимались на нее — Шурка впереди, мы с Сережкой сзади.

Вот пустая квартира Яворских и Гавриловых. Вот квартира, где живут Кириакисы и Матишина.

— Что ты теперь скажешь? — спросил я Сережку, когда мы проходили мимо этой двери.

Он промолчал.

Возле парадного, как всегда после отбоя, толпились люди. Но сегодня их было больше. Они спорили, гозорили все одновременно. Из обрывков общего разговора я понял, что свет в скворечнике первой заметила Одинцова. Она дежурила у подъезда. Звено охраны порядка и те, кто сидел в бомбоубежище ближе к выходу, бросились к квартире Кириакисов. Дверь в квартиру была не заперта. Но дверь в их комнату никак не поддавалась. Прибежал Петын, и только тогда дверь поддалась. Дальнейшее мы видели из окна.

Человеком, сорвавшим скворечник, действительно был Петын.

Сейчас от скворечника не осталось и следа. Его увезла специальная команда МПВО, которая приехала, пока мы сидели на крыше. Не было в толпе ни Доротеи Макаровны, ни Гали. Как выяснилось, Доротея Макаровна позвонила на завод Андрею Глебовичу, он прибежал, и всех их увезли вместе со скворечником.

— Ну, так что ты скажешь теперь? — спросил я Сережку. — Близорукий ты человек.

Сережка ничего не ответил. Да и что ему говорить? Я был прав.

— Вы про что? — спросил Шурка.

— Пусть он расскажет, — сказал Сережка и, опустив голову, пошел к себе в подвал. Ему через час надо было ехать на завод.

— Вы про что спорили? — спросил меня Шурка.

Я отвел его в сторону и хотел подробно рассказать про все, о чем говорил вечером с Сережкой, но почему-то сказал очень коротко:

— Я говорил Сережке, что Кириакис подозрительный тип, а он мне не верил.

— Конечно, — сказал Шурка, — еще бы... Петын это сразу определил. Жалко, не удалось разоблачить его раньше. И Барыня тоже подозрительная.

Мы поглядели на толпу и только тут заметили, что Барыни-Матишиной не было возле подъезда.

— Фридрих! — позвала меня тетка. — Пойдем домой, ты совсем синий. Я же просила тебя надеть джемпер.

Дома тетка вскипятила на керосинке чай, поставила на стол блюдечко с картофельными оладьями. Мы позавтракали. После налетов многие завтракали перед тем, как лечь спать.

Тетя Лида ничего не говорила о случившемся.

— Ты знаешь, — только и сказала она, — когда я сильно волнуюсь, я забываю про астму, и она про меня забывает.

— Кто бы мог подумать, — сказал я, — что такие люди окажутся шпионами. Ведь столько лет вместе живем!

— Какие? — спросила тетя Лида.

— Андрей Глебович, — сказал я. — Доротея Макаровна, Галя. И мать Вовки Ишина.

— Быстрые суждения, — ответила тетя Лида, — избочивают ум неразвитый и ленивый. Значит, по-твоему, Андрей Глебович, Доротея Макаровна, Галя и Ольга Борисовна Ишина шпионы?

Я разделся, лег и укрылся одеялом с головой. «Что-то много шпионов в нашем доме», — подумал я, засыпая.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

Проснулся я в полдень и, когда вышел из подъезда, узнал потрясающую новость. Ночью квартиру, где жили Кириакисы и Ишина, опечатали, но пока я спал, все они вернулись домой и печать с квартиры сняли. Зато та же машина, что ночью увозила их, увезла сапожника Кобешкина. Кроме того, в домуправлении сидел участковый уполномоченный и вызывал к себе жильцов дома.

Обо всем этом рассказал мне Шурка. В отличие от меня, дурака, он не ложился спать. Глаза у него были красные и волосы взъерошенные. Он видел, как вернулись Кириакисы и Матишина. Доротея Макаровна была заплаканная, а Андрей Глебович, как показалось Шурке, ехидно улыбался.

— Ты знаешь, как Петын разозлился? — сказал Шурка. — Он сказал: «Жалко, что на ваш дом бомбу не бросили. Целый дом шпионов, подумать только! Интеллигенция... гнилая». Я помог ему вещи нести.

— Кому? — спросил я.

— Петыну, — сказал Шурка. — Он решил — обратно на фронт. Так разозлился... Его врачи не пускали, у него рана еще не зажила, а он сам. И я бы с ним уехал от таких людей. Мать жалко.

— Прямо на фронт? — спросил я.

— «Прямо»! — усмехнулся Шурка. — Прямо на фронт не пускают. У него друг есть — Толик-Ручка.

— Знаю.

— Он около вокзала живет. Вот Петын сначала к нему, а потом дождется эшелона, к солдатам подсядет — и на фронт. Мне, говорит, противно. Я охранял дом, а в нем оказались одни шпионы.

Я понимал Петына. Ведь я тоже охранял дом, в котором были шпионы. Сами подумайте, легко ли это...

Я вспомнил историю про бумажник, которую рассказывал Петын, и спросил Шурку:

— Этот Толик возле Киевского вокзала живет?

— Нет, — сказал Шурка, — возле Казанского.

— Да? — удивился я. — Но ведь с Казанского в эвакуацию едут!

— Чудак! — сказал Шурка. — Теперь со всех вокзалов поезда на фронт идут. По Окружной.

Это правда. Об этом я забыл.

Мы с Шуркой стояли на мостовой и смотрели вверх, туда, где висел скворечник. То ли когда его прибавали, то ли когда сорвали, повредили ногу женщине с прямым носом, и теперь она вроде как бы прихрамывала.

— А Кобешкина почему забрали? — спросил я.

— Им видней, — сказал Шурка. — Он ведь тоже личность подозрительная. Может, у него в деревянной ноге радиостанция! Я, например, слышал такую историю.

— Может... — согласился я. — Такой человек все может. Он за водку черту душу продаст. Но интересно, почему этих, главных, выпустили?

— Значит, так надо, — сказал Шурка. — Может,

хотят проследить, кто к ним ходит, с кем связаны. А может, доказательств мало.

— Мало? — сказал я. — Ничего себе мало! Я бы этих людей... — начал я, но тут подумал про Галю и замолчал.

Я замолчал очень кстати, потому что в подъезде появилась Барыня-Матишина. Она была в бархатном пальто, на руках — перстни, на груди — часы с крышечкой.

— Милые Шурка и Фриц! — сказала она. — У меня к вам большая просьба...

— Еще не хватало!.. — пробурчал Шурка.

— Дело в том, что я получила повестку и без вас никак не могу справиться. Это уже третья повестка.

Деваться было некуда. И повестка, которую получила Ольга Борисовна Ишина, очень меня заинтересовала. Я подошел первым.

— Видишь ли, Фриц, — как ни в чем не бывало сказала мне Ольга Борисовна, — у Вовы есть мотоцикл «харлей-давидсон».

Это я и без нее знал.

— Так вот, этот «харлей-давидсон» нужно сдать в военкомат. Вовочке третий раз присылают повестку. Но без него я просто не знаю, как к этому подступить. Гаврилов обещал помочь, но его же не поймаешь. Неизвестно, когда он дома бывает! — Матишина продолжала: — Видимо, мотоцикл нужен для борьбы с фашистами, а он стоит в сарае разобранный, с него какие-то части сняты. Ведь его нужно сдать в полном порядке. Я вас прошу, пойдите в сарай и посмотрим, чего там не хватает.

— Мне некогда, — сказал Шурка. — Мне нужно на рынок, мать в очереди за чечевицей смеять.

Может быть, Шурка и не врал, но ему, конечно, повезло. Идти с Барыней в сарай пришлось мне.

В другой раз я пошел бы, конечно, с удовольствием, потому что до войны нас к тому мотоциклу ее сын близко не подпускал.

Во дворе нашего дома было несколько дровяных сарайчиков. В одном из них стоял мотоцикл Ишина. Ольга Борисовна сняла замок и распахнула дверь. «Харлей-давидсон» — большой зеленый мотоцикл с потертым кожаным седлом и рогатым рулем. В отличие

от всех других мотоциклов, которые я видел, у «харлея» не было никаких рычагов на руле. И сцепление, и тормоз были ножные. Андрей Глебович объяснял, что такова традиция американского мотоцикlostроения: чтобы все было как в автомобиле.

В автомобильном кружке Московского Дома пионеров я изучал устройство автомобиля «ГАЗ-АА» и мотоцикла «Красный Октябрь». «Харлей-давидсон» мы там не изучали.

И все-таки я сразу увидел, что с мотоцикла снят карбюратор.

— Карбюратора нет, — сказал я.

— Правильно, правильно, Фриц, — сказала Ольга Борисовна. — Вот и Андрей Глебович говорил, что у мотоцикла нет аккумулятора.

— Карбюратора, я сказал, а не аккумулятора.

И тут же я увидел, что Ольга Борисовна права — аккумулятора тоже не было.

— Вот эти коммутаторы... — сказала Ольга Борисовна.

— Карбюратор и аккумулятор, — поправил я.

— ...может быть, они у нас в чулане? Ты умеешь их привинтить?

— Не знаю, — сказал я, — попробую.

— А ты знаешь, на что они похожи? Пойдем к нам в чулан. Может быть, они там валяются. Я ведь не знаю, что к чему.

— А почему вам Андрей Глебович не поможет? — спросил я.

— Ну, во-первых, — сказала Ольга Борисовна, — он сейчас спит: ведь он всю ночь не спал. Неудобно его беспокоить. А во-вторых, Вовочка говорил, что Андрей Глебович ничего починить не может. Он или усовершенствует, или ломает. По-моему, он понимает только в керосинках.

— Ну, не только, — ехидно сказал я. — Он, наверно, еще и в скворечниках понимает.

Ольга Борисовна вздохнула и как-то странно посмотрела на меня.

— Неужели тебе трудно подняться и посмотреть? Ведь ты же знаешь, ты же интеллигентный мальчик, Фриц!

Мне не хотелось, ну, просто не хотелось поднимать-

ся в эту квартиру, встречаться с Андреем Глебовичем, с Доротеей Макаровой, с Галей. Но Андрей Глебович спит, подумал я. Доротея Макаровна тоже. И с другой стороны, когда мне еще представится возможность побывать в этой квартире и на месте выяснить, что к чему. Конечно, такая возможность может представиться, но медлить нельзя. Кто-то сказал: промедление смерти подобно.

Я никогда не видел, как опечатывают квартиру. Оказывается, просто берут веревочку, приклеивают к одной половинке двери сургучом и к другой половинке двери сургучом, а между двумя сургучными нащепками болтается веревочка.

Так вот, когда Матишина открывала дверь, я увидел обломки сургуча на двери и очень удивился, до чего же все это просто.

— Тихо, Кириакисы, кажется, спят, — сказала Ольга Борисовна и тем очень успокоила меня.

Она провела меня в чулан, точно такой же, как в нашей квартире и во всех коммунальных квартирах нашего дома. В каждой квартире было два чулана: один в коридоре, а другой при кухне. Они считались местами общего пользования, как ванная или уборная. Я и теперь часто слышу — «места общего пользования», но теперь коммунальных квартир становится все меньше и, наверно, меньше становится мест общего пользования.

Ольга Борисовна зажгла свет, и я увидел, что в чулане стоит большой темный шкаф со сломанной дверцей, на шкафу — трухлявая бельевая корзина, а рядом со шкафом большой сундук.

— Посмотри, пожалуйста. Или за шкафом, или за сундуком, а может быть, на антресолях.

Сначала я посмотрел на потолок, потому что, когда я вхожу в незнакомое помещение, я всегда смотрю на потолок. Такая привычка. Я когда в школе у доски стоял, тоже смотрел на потолок. А некоторые смотрят в пол. Также плохая привычка.

— Ты думаешь, на шкафу? — не поняв моего взгляда, спросила Барыня. — Уверю тебя, на шкафу ничего нет.

Барыня не стала мне мешать и, притворив дверь, отправилась на кухню.

Прежде всего я заглянул за шкаф. Там было много пыли. На полу лежала какая-то тряпка. В углу я увидел мышеловку, хотел достать ее рукой, но не дотянулся. У шкафа стояла швабра. Я взял ее и попробовал вытащить мышеловку. Мышеловка вдруг подпрыгнула и щелкнула. Хорошо, что не дотянулся!

«Ну что мне эта мышеловка!» — подумал я и повернулся к сундуку. В отличие от поломанного шкафа, сундук был целый, только замок сорван вместе с толстыми кольцами, на которых он висел. Надо иметь силу, чтобы сорвать такой замок.

Я приподнял крышку. Чего только там не было! Прежде всего модели самолетов, бумажные и схематические; потом какой-то прибор с радиолампами; груда ученических тетрадей; связка толстых общих тетрадей в коленкоровых обложках и несколько журналов. Один из журналов был иностранный. На обложке самолета, под самолетом надпись: «Капрони-Кампини». Такого самолета я никогда раньше не видел, хотя до автомобильного кружка занимался в авиамodelьном и даже сделал модель французского самолета «Кадрон-Рено-713». А этот — какой-то Капрони да еще Кампини...

Я стал листать журнал. Рисунок с обложки повторялся и на одной из страниц. Под рисунком была статья на непонятном языке, а на полях статьи красным карандашом по-русски написано: «Керосин!!!» Просто керосин, но с тремя восклицательными знаками.

«Керосин — это по части Андрея Глебовича, — сообразил я. — Надо сказать тете Лиде».

Тут я услышал, что Барыня вышла из кухни и топает по коридору. На всякий случай я сунул журнал в штаны за ремень и захлопнул крышку сундука.

— Нашел? — спросила Ольга Борисовна, появившись в двери.

— Нет, — сказал я. — Не так быстро. За шкафом я нашел только мышеловку. Может быть, карбюратор в этом сундуке?

— Маловероятно, милый Фриц. Почти невероятно. Он этот сундук и сам не часто открывал.

— Кто?

— Мой Вова. Он мне запрещал заглядывать в

него. Здесь его реликвии и вся техника. Однажды я порвала какую-то ненужную бумажку, так он устроил целый скандал. Потом я подарила детям серебристые лампочки, которые у него валялись без дела, — оказалось, что это для радио. Опять была сцена. Тогда я отдала ему во владение этот сундук. По-моему, это было, когда он перешел в седьмой класс. Кто бы мог подумать, что будет такое несчастье!

— Какое? — с деланной наивностью спросил я, понимая, что в словах Барыни заключена какая-то тайна. — Разве у вас какое-нибудь несчастье?

Наверно, я выдал себя. Барыня сразу прикусила язык.

— Я тебе потом все расскажу. Со временем. Между прочим, сколько мудрости в народной поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Представляешь, сегодня ночью я говорила с Вовой по телефону. Правда, Вова был ужасно огорчен, что у нас такие неприятности.

— Ну что вы, — сказал я, — какие у нас неприятности?

— Ты очень любопытный, Фриц. Я же тебе сказала — со временем узнаешь. А пока, милый, найди, пожалуйста, этот радиатор.

— Карбюратор, — поправил я, — и аккумулятор.

— Будь любезен, посмотри за сундуком, — сказала Барыня и опять зашлепала на кухню.

Я стал осматривать пространство за сундуком. Там стояла велосипедная рама без колес, какие-то гнутые трубы, видимо, от глушителя, тяжелая динамо-машина. Все это я выложил на крышку сундука и на самом полу увидел карбюратор. Я вытащил его и в освободившемся пространстве заметил два провода. Два обыкновенных электрических провода, которые выходили из стены возле плинтуса и вели в сундук.

«Зачем здесь эти провода?» — не успел подумать я, как сразу все понял: в сундуке сидел шпион и нажимал кнопку, которая включала лампочку и звонок в скворечнике!

Только мог ли шпион там уместиться?

Я поднял крышку сундука, и все, что на ней лежало, попадало на пол. Нет, в сундуке было так мно-

го хлама, что уместиться в нем мог разве только ребенок.

А вдруг этот хлам положили туда после истории со скворечником? И я живо представил себе, как шпион, похожий на Андрея Глебовича, лежит в сундуке и нажимает кнопку.

Нужно только найти эту кнопку. Я стал перебирать в сундуке все, что там было, и в это время услышал в коридоре знакомые голоса. Это проснулись и разговаривали Доротея Макаровна и Андрей Глебович. Из долетавших до меня слов трудно было понять что-либо определенное.

— Кто бы подумал...— говорила Доротея Макаровна.

— ...мыльница?— спрашивал из ванной Андрей Глебович.

— Посмотри хорошенько,— ответила ему жена.— Только этого не хватало! Могло бы кончиться весьма плачевно...

— Я оптимист...— доносилось из ванной.

— Тебе надо помириться с Фрицем, у него в голове каша,— говорила Доротея Макаровна.

Я слушал этот разговор и, хотя ничего важного для существа дела не услышал, все-таки разозлился. Лицемеры проклятые! В глаза зовут Федей, за глаза — Фрицем. «Я оптимист!» Шпион ты, а не оптимист!

В дверях кладовки опять появилась Барыня.

— Может быть, ты не знаешь, как выглядит этот самый сепаратор?— спросила она.— По-моему, он такой железный.

— Не сепаратор,— сердито возразил я,— не радиатор, а аккумулятор и карбюратор.

Пока я произносил эти слова, мне пришла в голову блестящая мысль.

— Я прекрасно знаю, как выглядят карбюраторы и аккумуляторы,— сказал я,— но неплохо бы посоветоваться со специалистом. С Гавриловым, например. Если можно, я поднимусь к нему. Вдруг он пришел!..

Придерживая рукой журнал, чтобы не выскользнул вниз, я пулей выскочил из квартиры. Мне очень хотелось спуститься к себе домой — попросить тетку,

чтобы она посмотрела журнал и подтвердила, что он принадлежит Андрею Глебовичу. Тогда это улика, и в сундуке сидел именно он. Еще мне очень хотелось все рассказать Шурке.

Сейчас поднимусь к Гаврилову. Постучу. Его, конечно, как всегда, нет дома. Тогда со спокойной совестью побегу по своим делам.

Я постучал в дверь семнадцатой квартиры и соби-
рался бежать вниз, как вдруг услышал, что кто-то
идёт отворять. Пришлось подождать.

— Ты ко мне?— удивился Егор Алексеевич Гав-
рилов. Сегодня он был выспавшийся и побритый.

— Нет,— смутился я.— Я только хотел сказать,
что Барыня...

— Ольга Борисовна,— поправил Гаврилов.

— Да. Она просила, чтобы я нашел у нее в кла-
довке карбюратор для «харлея», который...

— Заходи,— сказал Гаврилов.— Не тараторь,
объясни все по порядку.

В светлой комнате за накрытым клеенкой столом,
к моему удивлению, сидел сапожник Кобешкин. Ког-
да я вошел, он встал и заковылял к выходу.

— Чего ты заторопился, Павел Иванович?—
спросил Гаврилов.— Я бы чаек поставил.

— У меня от чая деревянная нога прет,— хмуро
усмехнулся Кобешкин.— Даже эти вот пионеры но-
ровят чего покрепче схватить. Между прочим, я его
тоже там видел.

Где он меня видел, я не понял.

— Критик ты хороший. Сам бы примера не пода-
вал,— сказал Кобешкину Гаврилов и добавил:— Так
что я все понял. Буду иметь в виду. Яровским напи-
шу сам.

— Ты еще к участковому зайди, Егор Алексе-
евич,— сказал Кобешкин.— Может, что важное сооб-
щишь.

Гаврилов проводил хромого сапожника до двери
и вернулся ко мне:

— Слушаю тебя.

Если бы не разговор об участковом, то есть об
участковом уполномоченном милиции, я не стал бы
выкладывать Гаврилову все, кое-что придержал бы
для себя. Но тут другое дело. Он пойдет к уполномо-

ченному и все толково расскажет, его выслушают. Меня же, возможно, и слушать не будут. Между тем, как я уже говорил, в иных случаях промедление смерти подобно.

— Егор Алексеевич,— начал я,— я давно подозревал и Матишину и Андрея Глебовича. Но до сегодняшнего дня у меня не было точных фактов. Теперь же я все знаю. Вообще-то мне нужно бы сейчас самому побежать в милицию, но лучше, если это делаете вы. Вам больше поверят. Если вы мне не верите, можете сами убедиться.

Я рассказал про то, как Барыня попросила меня найти карбюратор и аккумулятор для мотоцикла «харлей-давидсон», как я оказался в кладовой и обнаружил два провода, уходящие в сундук. Кнопку, на которую нажимал шпион, я пока не нашел.

Я рассказывал очень подробно, у меня не было основания думать, что Егор Алексеевич Гаврилов не понял. Однако первое, что он сказал, выслушав мой рассказ, сами понимаете, не могло меня не удивить.

— А карбюратор-то ты нашел?

— Нет,— сказал я.— То есть нашел, но он упал обратно за сундук.

— Придется мне,— сказал Гаврилов,— найти карбюратор и аккумулятор и помочь женщине сдать мотоцикл в военкомат.

— Егор Алексеевич, как вы не понимаете! Ведь наш дом находится недалеко от военных объектов, и если в нем шпионское гнездо...

— В сундуке?— спросил Гаврилов.— Значит, по твоему, шпион специально залезал в сундук, чтобы нажимать кнопку? А не проще бы ему было нажимать кнопку в комнате? Технической смекалки у тебя маловато!

— Но вы же знаете, что произошло этой ночью?

— Знаю,— сказал Гаврилов.— Мне Павел Иванович Кобешкин только что рассказал.

— Если вы мне не верите, сами пойдите и все увидите. Провода ведут в сундук. Электрической лампочки там нет. Зачем провода в сундуке? Я больше чем уверен (мне тогда нравилось говорить «я больше чем уверен»), что эти провода дальше идут к скворечнику.

— Ладно,— сказал Гаврилов,— мне скоро опять

на работу. Ты иди гуляй и не волнуйся. Делом этим занимаются люди поумней тебя. Впрочем, давай выйдем вместе. Я найду помогу Ольге Борисовне.

Гаврилов остался у дверей Матишиной, а я спустился вниз к подъезду.

Егор Алексеевич появился минут через двадцать. В одной руке он нес карбюратор, в другой — маленькую мотоциклетную аккумуляторную батарею.

— Егор Алексеевич, вы к участковому?

— Нет, — сказал он. — Сначала вот поставлю на мотоцикл, а потом, если останется время...

— Вы ж хотели пойти к участковому!

— Ну и пойду, если время будет.

— А вы видели?

— Посмотрел. Там ничего интересного нет. Простая звонково-световая сигнализация. Реле стоит. В общем, как у сейфов. Это еще до революции изобретено.

— Егор Алексеевич, — взмолился я, — но ведь шпионы и до революции были!

— Знаешь, — сказал мне Гаврилов, — о шпионах в другой раз поподробнее поговорим, я сам до смерти люблю говорить о шпионах. — И он спокойно повернул во двор, чтобы заняться мотоциклом, принадлежавшим сыну Барыни.

— Фридрих! — позвала меня тетка, высунувшись из окна. — Домой иди, да поскорей, пожалуйста, мне нужна твоя помощь!

Это кстати. Я пощупал журнал. Он был на месте, за ремнем.

Тетка сразу впрягла меня в работу. Нужно было вытащить зимние вещи и вывесить их для проветривания. Сама тетка боялась запаха нафталина — у нее мог начаться приступ астмы. Я понял, что сейчас говорить о журнале бесполезно.

Мороки с зимними вещами много. Одних газет, в которые они были завернуты, целый ворох. Возился я часа два. Думал — все.

— Тетя Лида, — сказал я, — я вот тут журнальчик достал. Не можешь ты перевести одну статейку?

Тетка взяла журнал, не глядя положила его к себе на стол и сказала:

— Хорошо, я переведу тебе все, что надо, если ты заклеишь окна.

У нее, оказывается, был уже припасен клей, но нужно резать бумагу на полоски. В общем, возился я почти дотемна. Потом мы чем-то перекусили, выпили чаю. Тетка села в кресло, взяла в руки журнал и спросила:

— Где ты его взял?

— Нашел, — сказал я.

Тетка посмотрела на меня подозрительно. Я показал ей нужную страницу, она стала читать и сказала:

— Это же итальянский журнал! А тебе следовало бы знать, что итальянский я знаю плохо.

— Тетя Лида, — взмолился я, — я же сделал все, что ты просила.

— Кроме того, — сказала тетка, — это технический текст, я этих терминов не знаю. Тут какие-то параметры. Сказано, что фюзеляж алюминиевый обтекаемый. Это тебе интересно?

— Нет. А там есть что-нибудь про керосин?

— Тут сказано: «В качестве горючего керосин обладает свойствами...» Тебе журнал дал Андрей Глебович? Вот страсть у человека к керосину! И потом, почему он не мог сам зайти? Ты же не сумеешь пересказать этот текст. Это он тебя просил?

— Нет, — честно сказал я.

— А журнал он тебе дал?

— Нет, — сказал я. — Это военная тайна.

После истории с Гавриловым я не мог доверять взрослым. Меня не понимают, как глухонемые не понимают человека, говорящего простым и ясным языком. Для меня было понятно главное: здесь замешан Андрей Глебович. Как только запахнет керосином, так без Андрея Глебовича не обойтись.

Тетя Лида пыталась вытянуть из меня что-нибудь еще, потом заговорила о пользе изучения иностранных языков, и это меня спасло, а то я, может быть, и проболтался бы. И еще меня выручило то, что объявили воздушную тревогу.

ПОСЛЕ ОТБОЯ

В тот раз тревогу объявляли дважды — одну с вечера, а вторую среди ночи.

После отбоя первой воздушной тревоги я уснул, и мне снился длинный мучительный сон. Я понимал,

что это все неправда, что это только сон, я очень хотел проснуться, но не мог.

Я четко видел, как ночью низко над городом появляются фашистские бомбардировщики. Летчик ведущего самолета напряженно вглядывается в кромешную тьму под крылом и поворачивает бледное лицо к штурману.

«Не вижу, — говорит он — ничего не вижу. Где же наши шпионы? Почему нет их сигналов?»

«Может быть, шпионов разоблачил этот проклятый пионер Крылов?» — отвечает штурман.

«Не может быть, не может этого быть, — качает головой летчик. — Крылов тоже наш шпион. Его зовут Фридрих, Фриц. Понимаете?»

Я хотел крикнуть, что я Федя, Федя! Что меня все зовут Федей, но язык не слушался, я мычал и плакал.

Фашистский летчик продолжал рассуждать:

«Он не Федор, не Теодор, как думают многие, он просто Фридрих. Фридрих и Федор — разные имена».

Получалось так, что разговор фашистских летчиков слышу не только я, но и Ольга Борисовна, Барыня. В длинной ночной рубашке она ползает на коленях по полу в своем чулане и бормочет:

«Фридрих, Фридрих... Куда же он задевал ключ? Куда этот несчастный маленький негодяй задевал ключ?»

Но вот она находит ключ, вставляет в замочную скважину сундука: сразу же раздается звонок и вспыхивает свет. Из мрака в прожекторном белом свете возникает Кремль, собор Василия Блаженного и трубы Могэса. В это время из своего окна Андрей Глебович Кириакис наводит стеклянный глаз на собор Василия Блаженного, и я ясно вижу, что это не глаз, а объектив фотоаппарата с диафрагмой, которая вдруг открывается.

«Самое пикантное, — говорит он, как бы про себя, — что могут получиться вполне приличные снимки. Равномерность освещенности каждого квадратного метра снимаемого объекта — вот главное».

А через стенку от Кириакиса почему-то расположился сапожник Кобешкин. В коленях у него зажата отстегнутая деревянная нога. Вот сапожник нажал в ней какую-то кнопку. Щелкнула и откинулась по-

таянная крышка, под которой оказался миниатюрный радиопередатчик.

«Немцы! Немцы! — громким шепотом заговорил в микрофон Кобешкин. — Я ваш, немецкий шпион. Вы молодцы, немцы. Знайте, в нашем доме много ваших шпионов. Передайте привет Гитлеру, Герингу и Геббельсу. Перехожу на прием».

«Битте шён, герр Кобешкин!» — кивает головой фашистский лётчик и переводит самолет в пике.

Меня разбудила тетка. За окном выли сирены. Я оделся потеплее, нахлобучил пожарную каску и опять полез на крышу. Я оказался там первым. Потом появились Сережка с Шуркой.

Ночь была холодная. Спросонья меня бил озноб, но двигаться не хотелось. Мы сидели в слуховом окне.

— Ребята, вы меня не будите, я подремлю, — попросил Сережка. Он привалился к стенке и засопел.

Действительно, ему труднее, чем нам. Мы могли отсыпаться днем, а он должен еще вкалывать на заводе.

Шурка повертелся немного и тоже застыл, сунув руки в рукава телогрейки.

Я был рад, что не надо разговаривать. Расследование мое находилось на таком сложном повороте, что трудно было предвидеть, куда оно меня заведет. В моей голове сейчас скопилось слишком много идей одновременно, а когда слишком много идей, лучше всего помалкивать.

Сундук с проводами звуко-световой сигнализации мной обнаружен. Он находился в той самой квартире, которую я подозревал. Но ведь ее обследовали до меня. Наверняка вместе с командой МПВО приезжал специалист. И если эти провода шли непосредственно от скворечника, не заметить их было невозможно.

А что, если к скворечнику шли другие провода из другого места и та сигнализация так и осталась обнаруженной? Странно и то, как вел себя Гаврилов. Говорил Кобешкину, что зайдет к участковому, а сам не пошел. О чем он говорил с Барыней-Матишиной? А может быть, он и с Андреем Глебовичем перекинулся парой словечек?

Матишина просила меня подождать. А чего ждать? Может быть, шпион скроется и заметет следы. Я вспомнил про сон, который мне снился между двумя

налетами. Конечно, все это глупости, но зачем и куда увозили сапожника Кобешкина? Почему он пришел к Гаврилову? О чем Гаврилов собирается писать Яворским? Они же в эвакуации. Кобешкин интересный тип, я бы даже сказал, загадочный. А про деревянную ногу — это мне здорово приснилось. Ведь в ней внутри что угодно можно спрятать, и никто не догадается. Может, он в ней поллитровку прячет!

В бедной моей голове все путалось. Сегодня я показал тете Лиде этот иностранный журнал с русским словом «керосин», написанным на полях непонятого текста. Сегодня-то мне удалось увернуться от ответа, откуда у меня журнал, но на завтра надо придумать, что можно ей соврать.

Главная загадка все-таки — Кириакис. Хорошо бы попросить Сережку, чтобы он поговорил с Галей, как комсомолец с комсомолкой. Жаль, что он меня не понимает.

Налет был не сильный, особенно возле нас. Видимо, фашистов задержали на подступах. Изредка стреляли ближе к Павелецкому вокзалу, где-то у Таганки, и все.

Тучи висели низко. Прожектора упирались в них, как в стену. Там за тучами на ближних подступах к Москве, наверно, ползали до небу фашистские бомбовозы. Но тучи были сплошные, тяжелые. Сквозь такие тучи днем и солнца не увидишь. Ох, если бы такие тучи всегда закрывали наш город от прицельного бомбометания! Я знал, что там, над тучами под звездным небом, встречали фашистов наши ястребки, там шли бои. Для нас на земле налет был скучный.

— Хоть бы зажигалки сбросили, — неожиданно сказал Шурка.

После того налета, когда мы погасили несколько зажигательных бомб, на наш дом упало всего еще две. Я даже не считаю нужным об этом специально рассказывать. С зажигалками мы теперь управлялись, как дворник с навозом, — на лопату и в ведро.

— Да ну их, — ответил я Шурке про зажигалки, — ничего интересного в них нету.

Стрельба над Москвой совсем утихла, даже на окраинах не стреляли. Но и отбоя почему-то не было.

Начало светать. Сережка Байков посапывал за моей спиной. Изредка крихтел от холода Шурка. Ти-

шина. Наконец возле кинотеатра щелкнул репродуктор:

«Угроза воздушного нападения миновала...»

Мы сразу поднялись и направились к лестнице.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!»

Когда диктор в третий раз произнес эти слова, мы уже спускались вниз. Сквозь мутные окна на лестницу падали пятна бледного осеннего рассвета. Тучи на небе сгустились еще больше.

— Может, сегодня от бати письмо придет, — сказал Шурка. — Мать места себе не находит. Говорит, у нее предчувствия плохие. Я не верю.

— Конечно, придет письмо, — сказал Сережка. — Мало ли что может быть! Может, ему некогда или почта плохо работает.

Я замер, боясь, что Сережка расскажет про смерть своего отца. Но он ничего больше не сказал.

Мы спускались молча, и когда были на третьем этаже, где-то совсем рядом со стороны переулка раздался взрыв. Несильный взрыв. Но это был взрыв, и вслед за ним мы услышали чей-то пронзительный крик и звон стекол. Стремглав бросились мы во двор и вокруг дома. Оказывается, обезжать его не так просто.

Жильцы, вышедшие из бомбоубежища, чтобы подышать чистым воздухом, не стояли сейчас спокойно рядком у подъезда. Они как-то странно сгрудились и смотрели на что-то страшное. Мы пробились сквозь толпу.

Первой, кого я увидел, была Василиса Акимовна Одинцова, командир звена охраны порядка. Она лежала на носилках, которые поднимали с земли Галя Кирякис и тетя Катя Назарова. С носилок капала кровь. На единственной ступеньке подъезда сидел, раскачиваясь и ругаясь на чем свет стоит, сапожник Кобешкин.

— Контузили, паразиты! — кричал он. — Контузили, гады!

Рядом с подъездом валялась его деревянная нога, расщепленная осколком.

Чуть подальше, на сером асфальтовом тротуаре, лежала Галина мама. Она была мертва.

Около нее на коленях, вся в слезах, стояла Ольга Борисовна Ишина. Когда Ольга Борисовна перекрести-

ла убитую и встала, мы увидели, что из-под плеча у Галиной мамы растекается лужица крови.

Мы узнали, что Дарья Макаровна (мне очень не хочется называть ее теперь Доротеей) и Павел Иванович Кобешкин первыми после отбоя вышли к подъезду, где стояла командир звена охраны порядка Василиса Акимовна Одинцова. В этот самый момент прямо против подъезда упала маленькая — не то двадцатипяти-, не то пятидесятикилограммовая — бомба. Такие бомбы могут носить истребители или разведчики-корректировщики — те, которые тогда назывались «рамами».

Сбрасывать такие осколочные бомбы на город, и тем более куда попало, — бессмысленно. Но, видимо, злоба фашистов, не могущих прорваться к Москве, была такова, что какой-то бандит на маленьком самолете нарочно задержался в небе, когда бомбардировщики ни с чем повернули назад. И вот — хоть как-нибудь досадить, хоть как-нибудь! — три человека оказались жертвами этого стервятника.

Дарью Макаровну убило наповал — осколок попал в грудь. Галя бросилась к ней, но увидела, что помощь здесь не нужна. На пороге дома истекала кровью Василиса Акимовна Одинцова. Тете Кате Назаровой не удавалось наложить жгут, а Галя сразу сумела это сделать. Меньше всех пострадал Павел Иванович Кобешкин. Осколок, видимо крупный, попал в его деревянную ногу. Нога раскололась, а Павла Ивановича контузило.

Потом, во второй половине октября 1941 года, я видел, как днем фашистский легчик-истребитель сбросил такую же осколочную бомбу на очередь за картошкой возле Москворецкого моста. Там было много убитых и раненых...

Сколько лет прошло, а я все не могу забыть то пасмурное и холодное утро, толпу у нашего подъезда, кровь, капающую с носилок, сапожника Кобешкина, на чем свет стоит ругающегося возле расколотой в щепы деревянной ноги, и Галину маму.

Она лежит мертвая на тротуаре, из-под плеча у нее по серому асфальту растекается лужица крови. Лицо у нее бледное-бледное, губы ярко накрашены, красные как кровь.

С тех пор я не люблю, когда красят губы.

ФАШИСТ

Я не хочу рассказывать, как женщины нашего дома подняли на носилки тело Дарьи Макаровны и понесли вверх по лестнице на пятый этаж. Галя шла сзади; она не плакала, а все говорила: «Осторожнее... Пожалуйста, осторожнее...»

Я не хочу рассказывать об этом, потому что я стоял, обняв тетю Лиду, и меня трясло, и я плакал громче всех в переулке.

Я не хочу рассказывать, как прибежал с завода Андрей Глебович, и, увидев на тротуаре расплывшееся красное пятно, кинулся к нам, людям, стоявшим вокруг, и заглядывал в глаза, и никто не мог выдержать его взгляда.

Я не хочу об этом рассказывать, потому что это невыносимо трудно, потому что всем людям, видевшим это, было очень плохо, но я должен рассказать об этом, потому что мне было хуже всех.

Весь день я не выходил из дому, лежал на кушетке, пытался читать какую-то книжку. Глаза мои бегали по строчкам, я листал страницы, но в голове ничего не оставалось. Тетя Лида включила трансляцию на полную мощность, но и радио мне не мешало. В тот день я не слышал ничего — ни песен, ни маршей, ни даже сводок Информбюро.

Часов в пять вечера вошел Шурка Назаров. Он вошел тихо. Плечи опущены, говорит и двигается медленно, голос хриплый. На щеке у Шурки был длинный красный рубец.

— Пойдем, тебя участковый вызывает.

Мы молча вышли на улицу и пошли в домоуправление.

— Откуда у тебя? — показал я на рубец.

— Мать. За Петына, — хрипло ответил Шурка.

Наше домоуправление объединяло несколько домов в переулке и еще два с соседней улицы. Оно находилось в подвале четырехэтажного дома, разгороженное на мелкие клетушки.

Участковый уполномоченный Зайцев сидел в одной из таких клетушек за обшарпанным канцелярским

столом. Перед ним был лист бумаги и стеклянная чернильница-непроливайка.

Зайцев — новый уполномоченный. Раньше у нас был другой, его взяли в армию и прислали Зайцева — кажется, отозвали с пенсии. Он никого как следует еще не знал, и мы тоже толком не знали его. Седой такой человек, почти дедушка.

— Садись, Крылов, — сказал он мне. — Будем разговаривать.

— Мне идти? — спросил Шурка.

— Выйди в коридор и жди.

— Долго? — робко спросил Шурка.

— Сколько надо, столько и жди, — хмуро сказал Зайцев.

Шурка вышел и притворил за собой дверь. Мы остались вдвоем.

Я понял, что разговор пойдет о скворечнике. Мне сейчас вообще ни с кем не хотелось разговаривать. Особенно с милиционером. Особенно о скворечнике.

Участковый начал издаലെка.

Он спросил, где я был во время налета, за день до истории со скворечником.

— Как — где? — сказал я. — На крыше, конечно. Мы всегда на крыше — от тревоги до стбоя.

— Кто — мы?

— Я, Сережка и Шурка.

— Все время на крыше?

— Да, — сказал я. — Мы — противопожарное звено.

— И никто из вас ни разу никуда не отлучался?

— Никто.

— А Назаров?

— И Назаров никуда, и я, и Сережка Байков.

— Это ты правду говоришь про Назарова?

— Я всегда говорю только правду.

— Допустим, что так, — сказал Зайцев. — А в ночь, когда засветился скворечник, Назаров тоже никуда не отлучался?

Я рассказал подробно про эту ночь и хотел уже сказать, что и сам теряюсь в догадках насчет скворечника, но Зайцев остановил меня:

— Петра Грибкова ты видел в те ночи?

Я вспомнил, что фамилия Петына — Грибков и зовут его Петр Петрович.

— Видел, когда он вылез из окна, чтоб сорвать скворечник.

— И только? А накануне?

— Нет, накануне не видел.

— На крышу к вам не поднимался?

— Один раз днем, когда налета не было. Мы показывали ему наше хозяйство. Он же в звене охраны' порядка.

— Про жильцов дома Грибков у вас спрашивал?

— Много раз, — сказал я. — Первый раз — как только с фронта вернулся, а потом — когда проверял светомаскировку в квартирах. Он же отвечал и за порядок и за светомаскировку.

— Что он спрашивал про жильцов?

— Кто сейчас в Москве, кто в эвакуации, кто в какую смену работает.

— Он вас вместе с Назаровым спрашивал?

— Когда вместе, когда меня одного.

— Кто из вас больше дружил с Грибковым?

— Больше Шурка, но я его тоже уважал.

— Так, — сказал Зайцев, — уважал... Заходил к нему покурить, выпить водки, песни послушать.

— Я совсем не курю, Шурка тоже, — соврал я. — А выпить нам Петына не давал. Мы и не просили.

— Скромные, — едва усмехнулся Зайцев. — Непьющие. А за водкой для него бегал?

— Нет, — сказал я.

— Назаров показал, что по поручению Грибкова он бегал за водкой к Кобешкину.

— Да, — вспомнил я, — мы заходили к Кобешкину один раз, только не решились спросить, он злой был.

— Назаров показал, что был и другой раз, когда он бегал для Грибкова за водкой на рынок.

Об этом случае я ничего не знал и не понимал, почему это так интересуется Зайцева? И дальнейшие его вопросы были странные, к скворечнику никакого отношения не имеющие.

Он спросил, видел ли я у Петына кожаное пальто и хромовые сапоги. Я сказал, что не видел. Бывал ли я в комнате Яворских после их эвакуации? Я ска-

зал, что не был. Наконец он встал и, выглянув в коридор, позвал Шурку.

— Назаров, — сказал он Шурке, — твой друг Крылов говорит, что он не видел у Грибкова ни кожаного пальто, ни хромовых сапог. Как это может быть?

— Не знаю, — опустил глаза Шурка. — Ну, сапоги он, допустим, не заметил в тот раз, может, не обратил внимания — они под кроватью валялись, а насчет пальто не знаю, как получается.

— Шурка, — сказал я, — никогда я не видел, чтобы Петын ходил в кожаном пальто и хромовых сапогах.

— Он и не ходил в пальто. Он его принес откуда-то, а потом отдал Толику-Ручке. Как же ты не видел? Толик его надел, когда уходил. Это в тот раз, когда Петын с ним выпивал и песни пел про «наш уголок нам никогда не тесен». Ты же был...

— Я не знал, что это Петына пальто. Я думал, Толик в нем пришел! — удивился я.

— Правду он говорит, — вспомнил Шурка. — Крылов в тот раз позже меня к Петыну пришел.

— Какое у твоего Толика было пальто? — спросил меня участковый Зайцев. — Опиши, что помнишь.

— Хорошее, новое кожаное пальто, какие бывают у летчиков и у танкистов, — сказал я, — пальто с поясом. Я такое видел раньше у сына Яворских.

Сын у Яворских был командир-танкист. В таком пальто я действительно видел его в день парада 7 Ноября прошлого года.

— Ну вот, — сказал Зайцев, — теперь приедет командир-танкист с фронта за этим пальто, а в том пальто ваш Толик ушел. Что вы, ребята, ему скажете?

Намек Зайцева был вроде бы очень ясный, но неожиданный. И пока я соображал, что все это значит, наш седой участковый опять спросил меня:

— Помогал Грибкову скрыться?

— Как — скрыться?

— Вещи ему нес?

— Он Петына не провожал, — вмешался Шурка, — я один. Я хотел Крылова позвать, а Петын сказал: «Не надо этого интеллигентика». Он его не любил, говорил: «Не люблю интеллигентов».

— А тебя он любил?

— Любил, — опустил глаза Шурка, и рубец на его щеке стал краснее.

— За что любил? — спросил Зайцев, зло глядя на Шурку.

— Ты, говорит, простой человек, пролетарий...

— Лопух ты, а не пролетарий, — обозвал Шурку Зайцев. — Слово «пролетарий» у нас на гербе написано. Мало тебе мать врезала.

Шурка еще ниже опустил голову. Казалось, он сейчас заплачет.

Участовый, не глядя на нас, макнул ручку в чернильницу и стал писать. Писал он долго.

Я стал соображать, что Петын, наверно, кого-то обокрал и смылся. А может быть, он никого и не обокрал, может быть, его просто подозревают, потому что он раньше был вором. Но ведь он же исправился!

И еще мне стало неприятно, что Петын, оказывается, меня не любил. Я ведь его очень уважал и ничего плохого ему никогда не сделал.

— Теперь перейдем к тому дню, когда замигал скворечник. — Зайцев поднял глаза от бумаги.

Я подумал, что сейчас должен буду рассказать, что обнаружил в кладовке у Ольги Борисовны, про журнал со словом «керосин», про Андрея Глебовича, про все. И понял: после сегодняшнего утра я не смогу сказать об этом ни слова. У меня сразу пересохло во рту.

— Знал Грибков, что Кириакис в ночную работает?

— Наверно, . знал, — сказал Шурка. — Он еще раньше знал, что Кириакис в ночную.

— Откуда?

— Мы ему сказали.

Шурка говорил неточно. Я помнил, что Петын об этом спрашивал меня.

— Это я сказал.

— Наводчики... Оба хороши! И вы оба видели, что из окна срывать скворечник вылез он?

— Да, — вместе сказали мы. — И еще Сережка Байков видел.

— Подонок! Фашистское отродье! — зажмурясь от ненависти, выругался участковый. — Своими руками пристрелил бы гада!

— Кого?! — вскрикнул я.

— У людей горе, слезы, кровь, смерть, а он лазает по квартирам, мародерничает. Это чистый фашист! Чистый фашист! Только фашист может на чужой беде строить свое благополучие. А вы ему помогали, были его разведчиками! Назаров даже помог ему вещи нести.

— Я же не знал! — взмолился Шурка. — Я же думал — он с фронта, раненый. Вы ведь тоже не знали.

Теперь я понял, почему Шурка пришел ко мне такой тихий, почему мать ударила его ремнем по лицу. Но поверить сразу не мог.

— Как же так? — спросил я. — Он же шпиона помог обезвредить. Об этом в книжке есть. Он же грудью заслонил командира в бою. Неужели он врал?

Видимо, участковому рассказы Петына были известны от Шурки.

— Лопухи! — еще раз выругал нас Зайцев. — Впервые, книжка, о которой ты, Крылов, говоришь, вышла за два года до ареста Петына. Как же ты не понял этого? Зря он тебя интеллигентом называл.

«Так... — подумал я, — значит, Шурка не пролетарий, а я не интеллигент. Кто же мы тогда?»

— Лопухи! — в третий раз обозвал нас Зайцев. — Неужто вы верили, что он заметил снайпера? Снайпера?! Понял, куда он целится, и заслонил грудью командира?! Неужто вы не видели, наконец, что образ жизни его совсем не изменился, и дружки у него те же, и речь та же? Из ваших же рассказов видно, как Грибков ненавидел всех людей: одних за то, что они образованные; других за то, что они просто труженики; третьих за то, что они уехали в эвакуацию; четвертых за то, что они остались в Москве.

Эти слова участкового подействовали на меня. А ведь и правда, мне все время чуть-чуть не верилось в то, что он рассказывает о себе, и не нравилось, как он говорил о людях. И жизнь его, и пьянки, и словечки действительно никак не изменились.

— Ой, Шурка, — сказал я, — ведь я так и знал!..

— Что знал? — вдруг заорал на меня Шурка. — Ты всегда говоришь «я так и знал». Ни фига ты не знал!

Я замолчал, потому что Шурка был абсолютно прав.

— Ваш Петын, — сказал Зайцев, — в самом деле очень хитрый и опасный преступник. Я у вас человек новый, но с первого дня заинтересовался им, попросил его прийти предъявить документы. Документы у него были в полном порядке. Действительно с фронта, действительно ранение. Но я все же стал наводить справки. На два дня только и опоздали. Война... Почта плохо работает.

Участковый встал из-за стола и сделал шаг. От волнения ему хотелось ходить, но ходить в этой клетушке было негде. Он опять сел.

— И все-таки, ребята, вы вахлаки. Павел Иванович Кобешкин еще позавчера попросил меня обратить внимание на Грибкова. Грибков принес ему в починку сапоги, а тому показалось, что это сапоги молодого Яворского. Только и это было слишком поздно. А сегодня из лагеря справка пришла...

То, что дальше рассказал нам участковый уполномоченный Зайцев, поразило и меня и Шурку. Оказалось, что в лагере Петын поменялся фамилиями с другим преступником, неким Клейменовым Виктором, а потом бежал. Объявили розыск Клейменова, в то время как тот сидел в лагере под фамилией Грибков, а Петын на свободе добыл документы на свое собственное имя, вновь стал Грибковым, ограбил раненного в грудь солдата, забрал справки о ранении, подделал их и заявился к себе домой. Он знал, что Грибкова пока никто не разыскивает и он сможет пожить здесь некоторое время.

Кто же мог такое подумать!.. Ну, а об остальном вы и сами, наверное, догадались.

Во время одной из тревог Петын обокрал квартиру Яворских. В другую ночь забрался в кладовку Ольги Борисовны Ишиной. Из этой квартиры Петыну ничего не удалось унести. Он взломал шкаф, вытащил шубу Ольги Борисовны, несколько кофточек. Потом вскрыл сундук и, не зная, что на улице заработал сигнал, продолжал копаться в кладовке.

Неожиданно для Петына в квартире появились люди. Много людей. Они рвались в закрытые двери комнат, выходящих на фасад, и не заметили, откуда сре-

ди них появился Петын. Он должен был там появиться: он же в звене охраны порядка.

А Петын быстро сообразил, что к чему. Он легко взломал дверь и даже проявил геройство, выскочив на подоконник.

В первый момент все обошлось благополучно, но Петын понял, что, когда уляжется суматоха, нужно немедленно уносить ноги.

— А как же скворечник? — спросил я участкового.

— Дался тебе этот скворечник! После того что сказал тебе Егор Алексеевич, мог бы и сам догадаться.

Вот оно что! Оказывается, Гаврилов все же успел бывать здесь.

— Звонково-световая сигнализация, — продолжал Зайцев. — Можно еще добавить — с выносным устройством. Реле у него там стояло. Как в банковских сейфах. Стоит кому-то, не знающему секрета, вскрыть сейф, как на весь банк или контору раздается звонок или сирена включается. В магазинах такие устройства делают.

Я вспомнил намек Ольги Борисовны и понял, что сигнализацию ее сын установил, когда учился в седьмом или восьмом классе. Вот уж действительно изобретатель!

— Но ведь это же мог быть сигнал для фашистов! — сказал я.

— Мог быть, — согласился участковый. — Но сигнал только тогда называется сигналом, когда обе стороны знают, что он означает. Допустим, заметили враги мигающий свет, но к чему это, им не известно. Сигнал, который ничего не означает, не сигнал. Однако, думаю, если бы Ишин смог приехать в Москву с начала войны, он бы выключил систему.

— Все равно он виноват, — сказал я, вспомнив, чего стоил мне этот скворечник.

— Не очень, — возразил Зайцев. — Представь себе, что вор забирается в квартиру, допустим, через окно и срывает штору. Свет появился в данной комнате, но виноваты ли хозяева, которых в то время не было дома?

Возражений у меня не нашлось, и я посмотрел на Шурку.

Шурка слушал наш разговор без всякого интереса.

То ли он знал это раньше меня, то ли думал сейчас о другом. О Петыне, наверно, думал.

— И еще то сообрази,— добавил участковый Зайцев,— зачем шпиону соединять сундук со скворечником? Зачем ему устраивать все это на собственной квартире? Разве шпион оставит такие улики? Шпион больше всего думает о безопасности. И потом, жильцы этой квартиры на месте, а Петын-то скрылся. Упустили мы, ребята, фашиста.

— Я его из-под земли достану,— сказал Шурка. Зайцев посмотрел на него хмуро, правда не так хмуро, как смотрел раньше.

— Идите, ребята, домой. Мы четвертый час с вами беседуем. Поешьте, а то скоро тревога будет.

Это верно. Воздушные тревоги бывали тогда каждый вечер и всегда в одно и то же время.

— Ты, Назаров, поужинаешь и приходи сюда. Поедем с оперативной группой в район Казанского вокзала. Может быть, понадобишься для опознания Грибкова и его приятеля.

ПОМИНКИ И ПРОВОДЫ

В ту ночь мы сидели на крыше вдвоем с Сережей Байковым. Шурка с опергруппой уехал на поиски Петына.

Сережка даже не ругал меня. Он ничего не говорил о том, что я еще глупый. Он просто рассказывал про то, чего я не знал, и еще немного про то, что я никому тогда не должен был говорить.

Он рассказал, что вечером специальным самолетом с востока прилетел сын Ольги Борисовны Ишиной; что он очень секретный инженер и работает над изобретением одной очень секретной штуки; что для этой штуки надо изготовить еще другие штуки, которые должны быть из жаропрочной стали. Там все новое, в технике небывалое, и обработка нужна точнейшая, до сотой доли микрона. Егор Алексеевич Гаврилов как раз этим и занимается. Поэтому когда Владимир Васильевич Ишин прилетел в Москву, он сначала заехал не домой, а на завод к Егору Алексеевичу.

Я узнал, что с завода Сережка приехал вместе с

ними на том самом светло-бежевом «ЗИС-101», который однажды уже привозил Гаврилова. Оказывается, пока участковый уполномоченный нас с Шуркой допрашивал, Владимир Васильевич, Егор Алексеевич и Сережка пытались завести «харлея», но не завели, потому что у него сел аккумулятор. Будут его завтра заводить с ходу. Придется толкать.

— Как ты думаешь, Сережка, могу я завтра помочь им толкать мотоцикл?

В другой раз я и спрашивать бы не стал, пришел бы и толкал. А тут такое дело!

— Конечно,— ответил Сережка,— ты будешь нужен. И еще, Галя просила передать, что Андрей Глебович хочет, чтобы ты пришел на похороны Доротеи Макаровны. Она очень тебя любила и ругала Андрея Глебовича за то, что он тебя однажды обидел. Выгнал вроде.

Только это и сказал Сережка, но я заплакал от его слов. Я долго-долго плакал. Рукав моей куртки стал совсем мокрым. Сережка не утешал меня.

Галину маму мы похоронили на далеком кладбище. На холмик могилы положили дощечку с надписью:

ДОРОТЕЯ КИРИАКИС-НОВИЧКОВА

артистка оперетты

1901—1941

Мы возвращались медленно, потому что на улицах было много войск. Ехали танки и пушки, шагали красноармейцы в шинелях и шапках, рысью прошла какая-то кавалерийская часть.

Андрей Глебович шел впереди всех с высоко поднятой головой. Мы едва попевали за ним. Я был рядом с Галей, потому что Сережка в это время работал, а Шурка еще не вернулся с поисков Петына.

Был с нами и Владимир Васильевич Ишин. Высокий, плечистый и совсем не такой молодой, каким он мне раньше представлялся. Вовкой его уже никто не смог бы назвать.

Он совсем отстал от нас, потому что шел с женщинами нашего дома. Он вел под руки свою маму и мою тетю Лиду. У тети Лиды началась одышка, и Ольга Борисовна говорила:

— Вова, не так быстро, мы с Лидией Ивановной совсем не так молоды, как тебе кажется.

Потом мы с Владимиром Васильевичем опять пытались завести мотоцикл. Мы нажимали на стартер: пятьсот раз правой ногой, пятьсот — левой; мы гоняли его по переулку, выворачивали свечи, проверяли карбюратор и снова гоняли по переулку. «Харлей» так и не завелся.

Пришлось поставить его обратно в сарай, потому что нас позвали домой. Это были и поминки по Дарье Макаровне, и проводы. Ночью Владимир Васильевич и Ольга Борисовна Ишины улетали на восток.

За столом в комнате Андрея Глебовича собралось человек двадцать. Мать Сережи, тетя Клава, и мать Шурки, тетя Катя, накрыли сдвинутые столы и сели последними. Егор Алексеевич Гаврилов разлил по стаканам и рюмкам красное вино «Кагор», встал и сказал, что смерть принесли на нашу землю фашисты, что каждому страшно умирать и что каждого убитого жалко, но он в своей жизни не видал более преданной жены, любящей матери и доброго человека. Про кого он говорил, каждый понимал.

Вина налили всем: и Сереже, и Гале, и даже мне.

— Не больше одной рюмки,— предупредил меня Сережа.— Скорей всего, и сегодня будет тревога.

Я просидел с этой рюмкой весь вечер. Наверно, поэтому я так хорошо помню все, что было.

Встала тетя Клава и сказала, что люди смертны и всегда умирают не вовремя. Вот и они с мужем хотели увидеть внуков, а теперь... Тут она посмотрела на тетю Катю Назарову. А теперь вот не известно, что будет, но она надеется, что все будет хорошо.

И опять все выпили.

Моя тетя Лида предложила выпить за здоровье Василисы Акимовны Одинцовой и Павла Ивановича Кобешкина, за то, чтобы они скорей выписались из больницы.

Андрей Глебович стал наливать себе сам. Он наливал помногу и выпивал до дна. Он много выпил в тот день, молчал, а потом встал и сказал:

— Я хочу выпить за тебя, Вовка, за тебя, Владимир Васильевич, за твою золотую голову и за твою работу. Я надеялся на тебя, когда ты был совсем еще

мальчишкой и когда ты был студентом. Я знал, что ты из тех, кто дарит людям счастье и свет, как Кибальчич, Эдисон и Циолковский. Но сегодня я хочу выпить за то, чтобы все силы свои ты отдал нашей победе, чтобы отомстил фашистам за всех. За всех и за нее.

Андрей Глебович замолчал на мгновение и добавил:

— Пусть наши самолеты будут самыми лучшими в мире, Володя, и пусть...

Тут встал Владимир Васильевич. Видимо, он боялся, что Андрей Глебович скажет что-нибудь лишнее.

— Как хорошо, что я родился и вырос в этом доме,— сказал Владимир Васильевич.— В этом доме и в этом переулке. Каждому из вас, сидящих за этим столом, я обязан всем, что во мне есть хорошего. Но больше всего я обязан двоим из вас. Может быть, только благодаря Андрею Глебовичу я понял, что мелочи изменяют лицо мира и что «инженер» происходит от английского слова, означающего «порождать», «вызывать из небытия».

— Не совсем так,— тихо заметила тетя Лида.— От латинского.

К счастью, кроме меня, никто ее не услышал.

— Еще я низко кланяюсь Егору Алексеевичу, одному из тех людей, без кого руда не стала бы металлом, а металл остался бы слитком. За вас, мои учителя! — Владимир Васильевич поднял свой стакан. — За вас, мои учителя, за то, чтобы каждый из нас отдал все для борьбы с фашизмом!

На столе давно не осталось никакой еды, и бутылки давно опустели, а мы все сидели в этой комнате, потому что хотели быть вместе как можно дольше.

Было еще много разговоров, и я подумал, что мне тоже очень повезло родиться и жить в этом доме.

— Вовочка, а когда кончится война? — вдруг очень громко спросила Ольга Борисовна. Она смотрела сразу и на сына и на Егора Алексеевича Гаврилова. — Неужели этот кошмар может длиться долго?

Ее сын, наверно, не знал, какие жаркие споры бывали у подъезда нашего дома.

Если б знал, ответил бы точнее.

— Война всегда длится дольше, чем хочется хоро-

шим людям,— сказал он и поднялся из-за стола.— Нам пора.

Все стали прощаться и выходить в коридор. Я тоже вышел.

Владимир Васильевич надел пальто, кепку и нагнулся к чемодану. Тут я решился и тронул его за рукав.

— Я отдал ваш журнал Ольге Борисовне еще утром.

— Я знаю,— кивнул он.— Ты не вешай носа, а заруби себе на нем три зарубки.

Я совсем осмелел и спросил:

— А почему там было написано про керосин? Разве в авиации применяется керосин?

— В авиации применяется даже кефир, — чуть заметно улыбнулся Владимир Васильевич. — Говорят, что Чкалов, например, иногда пил кефир.

— Нет, правда? — спросил я.

— Могу дать исчерпывающий ответ, — чуть шире улыбнулся Владимир Васильевич. — Теплотворная способность керосина достаточна высока, а при определенных режимах горения он удобней бензина. Надеюсь, ты абсолютно все понял.

Я абсолютно ничего не понял и ответил так:

— Теперь мне все ясно. Можете быть уверены, что я никому об этом не скажу.

— Значит, понял, — во весь рот улыбнулся Владимир Васильевич и поднял чемодан.

Мы стали спускаться вниз. У подъезда я увидел светло-бежевый «ЗИС-101». Шофер стоял у открытой дверцы и этим торопил отъезжающих.

Наверно, все завидовали Ишиным. Во всяком случае, я завидовал. Они были первыми людьми в нашем доме, которые летели самолетом. До войны на самолетах в нашем доме не летал никто, ну, кроме самого Владимира Васильевича. Даже Гаврилов не летал. Помоему, до войны на самолетах вообще летали только летчики и полярники. Это теперь все летают: и в гости, и в отпуск, и в командировку, и даже в пионерские лагеря на юг. И между прочим, подавляющее большинство теперешних самолетов летают на керосине. Во всяком случае, все реактивные и турбовинтовые.

Машина тронулась, свернула за угол. А мы стояли

у подъезда: Егор Алексеевич, Андрей Глебович, Галя, тетя Лида и я. Стояли и смотрели.

Из-за колокольни на углу появились два человека. Я сразу узнал Шурку и участкового Зайцева. Они шли к нам, оба усталые и хмурые.

— Поймали?— спросила тетя Лида.

— Нет,— коротко ответил Зайцев.

— Толика поймали,— сказал мне Шурка.— Он говорит, что Петын с новыми документами уехал в Ташкент.

— Эх,— вздохнул Гаврилов,— шпионов ловили, а фашиста упустили. Нужно, чтоб люди с детства могли отличать человека от фашиста.

Егор Алексеевич говорил это всем. Он смотрел куда-то поверх наших с Шуркой голов, но мне казалось, что он смотрит на меня и что все смотрят на меня.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Во второй половине октября 1941 года, когда фронт придвинулся к Москве и через поля совхоза, где мы летом просили машину, пролегли противотанковые рвы, а над Москвой вперемешку со снегом летали фашистские листовки, когда над Мавзолеем был воздвигнут двухэтажный фанерный дом с мезонином, когда на улицах в центре города появились долговременные огневые точки, когда мы с Шуркой помогали строить баррикады возле нашего моста, а на ближних улицах стояли надолбы,— Сережа Байков и Галя Кириакис ушли на фронт.

У Гали была справка об окончании курсов медсестер. За Сережу хлопотала комсомольская организация.

Они ушли на рассвете, когда из репродукторов возле кинотеатра звучала первая песня той поры — «Священная война».

В тот день после работы к тете Лиде пришел Андрей Глебович. Он долго сидел за столом, мешал ложечкой чай в стакане, но не пил его. Просто сидел за столом, ничего не говорил и мешал ложечкой чай в стакане. До сих пор я слышу, как позвякивает эта ложечка.

Вечером, как всегда, была воздушная тревога.

Я вылез на крышу и увидел, что Москва вся белая, белая...

Было холодно. Замерзла вода в пожарной бочке. На крыше мы теперь сидели в зимних пальто и шапках.

— В магазинах только кофе остался,— сказал Шурка.— Даже крабов нет.

Мы были на крыше вдвоем с Шуркой.

Я представил себе, как шагает по дороге Сережа Байков — белобрысый, с белыми бровями и белыми ресницами. Он идет в шинели с винтовкой. А рядом с ним шагает Галя. Из-под пидотки — черные кудри, на боку — санитарная сумка, и поет она песню из кинофильма «Остров сокровищ»:

Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...

«Погоди,— подумал я,— постой! Зачем же это?»

Я не хотел, чтобы Сережку ранили. Я хотел, чтобы он всегда был абсолютно здоров и никто его не перевязывал.

Сережка погиб в 1943 году, Шурка — в 1945. Мой год на фронт не попал, и я вот живу.